

Авангард  
де Сент-Жюльена

Военный  
центр

---



# Антуан де Сент-Экзюпери

## Военный летчик

*Майору Алиасу, всем моим товарищам по авиагруппе дальней разведки 2/33; и прежде всего штурману капитану Моро и штурманам лейтенантам Азамбру и Дютертру, вместе с которыми во время войны 1939 — 1940 годов я поочередно вылетал на боевые задания и которым до конца жизни я остаюсь верным другом.*

Это, конечно, сон. Я в коллеже. Мне пятнадцать лет. Я усердно решаю задачу по геометрии. Облокотившись на черную парту, я старательно орудую циркулем, линейкой, транспортиром. Я сосредоточен и спокоен. Рядом перешептываются товарищи. Кто-то выводит столбики цифр на классной доске. Менее прилежные играют в карты. Время от времени я глубже погружаюсь в свой сон и поглядываю в окно. На солнце тихонько колышется зеленая ветка. Я долго смотрю на нее. Я рассеянный ученик... Я радуюсь этому солнцу и упиваюсь запахами детства: запахом парты, мела, классной доски. Как хорошо, что могу укрыться в этом надежно защищенном детстве! Я знаю: сперва детство, школа, товарищи, потом приходит день экзаменов. Ты получаешь диплом. И с замиранием сердца переступаешь порог, за которым становишься мужчиной. Отныне ты тверже ступаешь по земле. Ты начинаешь свой жизненный путь. Ты уже делаешь первые шаги. Наконец ты проверишь свое оружие на настоящих противниках. Линейка, угольник, циркуль — с их помощью ты будешь строить мир или побеждать врагов. Конец забавам!

Я знаю, обычно школьника не пугает встреча с жизнью. Ему не сидится на месте. Муки, опасности, разочарования — все, чем полна жизнь взрослого, школьнику нипочем. Но я странный школьник. Я счастлив тем, что я школьник, и не слишком тороплюсь вступать в жизнь... Приходит Дютертр. Я подзываю его.

— Садись, я покажу тебе фокус...

И я страшно доволен, когда вытаскиваю из колоды задуманного им пикового туза.

Дютертр сидит против меня на такой же черной парте и болтает ногами. Он смеется. Я скромно улыбаюсь. Подходит Пенико и кладет руку мне на плечо.

— Ну что, дружище?

Сколько во всем этом нежности!

Надзиратель (а надзиратель ли это?..) открывает дверь и вызывает двух товарищей. Они бросают линейки, циркули, поднимаются и выходят. Мы провожаем их взглядом. Со школой для них покончено. Их бросают в жизнь. Теперь пригодятся их знания. Теперь они, как взрослые, смогут проверить свои расчеты на противнике. Странная школа, откуда учеников выпускают поодиночке. И без торжественных проводов. Эти двое даже не взглянули на нас. А ведь судьба, возможно, закинет их далеко-далеко. На край света! Когда после школы жизнь разбрасывает людей, могут ли они поручиться, что свидятся вновь?

А мы, те, что остаемся еще в мирном уюте теплицы, мы опускаем головы...

— Послушай, Дютертр, сегодня вечером...

Но дверь отворяется снова. И я слышу словно приговор:

— Капитана де Сент-Экзюпери и лейтенанта Дютертра — к майору!

Прощай, школа. Начинается жизнь.

— Ты знал, что наша очередь?

— Пенико уже летал сегодня утром.

Если нас вызывают, значит, мы летим на задание — это ясно. Конец мая, отступление, разгром. В жертву приносят экипажи, словно стаканом воды пытаются затушить лесной пожар. Где уж думать о потерях, когда все идет прахом. На всю Францию нас осталось пятьдесят экипажей дальней разведки. Пятьдесят экипажей по три человека, из них двадцать три — в нашей авиагруппе 2/33. За три недели из двадцати трех экипажей мы потеряли

семнадцать. Мы растаяли, как свеча. Вчера я сказал лейтенанту Гавуалу:

— Разберемся после войны.

И лейтенант Гавуаль мне ответил:

— Уж не рассчитываете ли вы, господин капитан, остаться в живых? Гавуаль не шутил.

Мы прекрасно понимаем, что нет иного выхода, как бросить нас в пекло, даже если это и бесполезно. Нас пятьдесят на всю Францию. На наших плечах держится вся стратегия французской армии! Пылает огромный лес, и есть несколько стаканов воды, которыми можно пожертвовать, чтобы затушить пожар, — ясно, что ими пожертвуют.

И это правильно. Разве кто-нибудь жалуется? Разве мы не отвечаем неизменно: «Слушаюсь, господин майор. Так точно, господин майор. Благодарю вас, господин майор. Ясно, господин майор»? Но теперь, в последние месяцы войны, над всем преобладает одно ощущение. Ощущение нелепости. Все трещит. Все рушится. Все без исключения — даже смерть кажется нелепой. Она бессмысленна в этой неразберихе...

Входим к майору Алиасу. (Он и поныне командует в Тунисе той же авиагруппой 2/33.)

— Здравствуйтесь, Сент-Экс. Здравствуйтесь, Дютертр. Садитесь.

Мы садимся. Майор разворачивает карту и обращается к посыльному.

— Дайте сюда метеосводку.

Он постукивает карандашом по столу. Я смотрю на него. Он осунулся. Он не спал ночь. Он мотался взад и вперед на машине в поисках ускользающего, как призрак, штаба — штаба дивизии, штаба корпуса... Он пытался бороться со складами снабжения, которые не обеспечивали его запасными частями. По дороге он застревал в непроходимых заторах. Он организовал также нашу последнюю передислокацию и размещение на новой базе — мы то и дело меняем аэродромы, словно горемыки, преследуемые непреклонным судебным исполнителем. До сих пор Алиасу всегда удавалось спасти свои самолеты, грузовики и десять тонн военного имущества. Но мы понимаем: силы его на исходе, нервы уже не выдерживают.

— Ну, так вот...

Он все стучит и стучит по столу, не глядя на нас.

— Дело очень скверное...

Он пожимает плечами.

— Скверное задание. Но в штабе настаивают... Упорно настаивают... Я возражал, но они настаивают... Вот так-то.

Мы с Дютертром смотрим в окно — небо ясное. Я слышу, как кудахчут куры: командный пункт помещается на ферме, а отдел разведки — в школе. Лето, зреющие плоды, прибавляющие в весе цыплята, колосющиеся хлеба — все это вполне уживается во мне с мыслью о близкой смерти. По-моему, покой этого лета никак не противоречит смерти, и в сладости окружающего я не вижу ни малейшей иронии. Но у меня мелькает смутная мысль: «Лето какое-то ненормальное... Лето попало в аварию». Я видел брошенные молотилки. Брошенные комбайны. В придорожных канавах — разбитые и брошенные автомобили. Брошенные деревни. В одной опустевшей деревне из колонки все еще лилась вода. Чистая вода, стоившая человеку стольких забот, растекалась грязной лужей. Передо мной возникает вдруг нелепый образ: мне чудятся испорченные часы. Будто испорчены все часы. Часы деревенских церквей. Вокзальные часы. Каминные часы в покинутых домах. И в витрине сбежавшего часовщика — целое кладбище мертвых часов. Война... никто больше не заводит часов. Никто не убирает свеклу. Никто не чинит вагонов. И вода, предназначенная для

утоления жажды или для стирки праздничных кружевных нарядов крестьянок, лужей растекается по церковной площади. И летом приходится умирать...

Я словно заболел. И врач только что сказал мне: «Дело очень скверное...» Значит, надо подумать о завещании, о тех, кто остается. Словом, мы с Дютертром поняли, что задание — безнадежное.

— Учитывая обстановку, — заключает майор, — с риском считаться не приходится...

Ну конечно. «Не приходится». И никто тут не виноват. Ни мы — в том, что приуныли. Ни майор — в том, что ему не по себе. Ни штаб — в том, что он отдает приказы. Майор мрачнеет, потому что эти приказы бессмысленны. Мы тоже это знаем, но это известно и штабу. Он отдает приказы, потому что надо отдавать приказы. Во время войны штабу положено отдавать приказы. Их доставляют прекрасные всадники или, что более современно, мотоциклисты. Там, где царили хаос и отчаяние, один из таких прекрасных всадников соскакивает с взмыленного коня. Словно звезда волхвов, он указывает будущее. Он приносит Истину. И приказы вновь ставят все на свое место.

Такова схема войны. Так ее изображают на лубочных картинках. И каждый из всех сил старается, чтобы война была похожа на войну. Ревностно, с усердием. Каждый стремится соблюдать все правила игры. Тогда, быть может, эта война сообразовит походить на войну.

И только ради того, чтобы она походила на войну, бесцельно обрекают на гибель экипажи самолетов. Никто не хочет признать, что эта война ни на что не похожа, что все в ней бессмысленно, что она не укладывается ни в какую схему, что люди с серьезным видом все еще дергают за ниточки, которые уже оторвались от марионеток. Штабы с полной убежденностью рассылают приказы, которые никуда не дойдут. От нас требуют сведений, которые невозможно добыть. Авиация не может взять на себя задачу растолковывать штабам, что творится на войне. По данным авиационной разведки можно лишь проверить предположения штабов. Но никаких предположений больше не существует. А от полусотни летных экипажей фактически требуют, чтобы они придали этой войне некий порядок или систему, которых нет и в помине. К нам обращаются, словно к какому-то племени гадалок. Я гляжу на Дютертра, моего штурмана-гадалку. Вчера он спорил с полковником из дивизии: «Да как же я засеку вам позиции, если буду лететь в десяти метрах от земли со скоростью пятьсот тридцать километров в час?» — «Позвольте, но вы же увидите, откуда по вас начнут бить! Раз бьют, значит, позиции немецкие».

— Ну и ржал же я после этого, — заключил Дютертр.

Дело в том, что французские солдаты в глаза не видели французских самолетов. Их всего тысяча, и они рассеяны от Дюнкерка до Эльзаса. Вернее говоря, растворены в бесконечности. Поэтому когда над фронтом проносится самолет, он наверняка немецкий. И его стараются сбить прежде, чем он успеет сбросить бомбы. Заслышав гул в небе, пулеметы и скорострельные пушки сразу же открывают огонь.

— Прямо скажем, ценные сведения получают они при такой методе!.. — добавил Дютертр.

А между тем эти сведения будут приняты в расчет, ибо на войне полагается принимать в расчет данные разведки!..

Да, но ведь и вся эта война какая-то ненормальная.

К счастью, — и мы это прекрасно знаем, — никто не будет принимать в расчет наши данные. Мы просто не сможем их передать. Дороги забиты. Телефонная связь нарушена. Штаб срочно перебазирован. Важные сведения о расположении противника предоставит

сам противник. На днях под Ланом мы спорили о том, где проходит линия фронта. Мы направляем лейтенанта к генералу, чтобы установить с ним связь. На полпути между нашей базой и генералом автомобиль лейтенанта натывается на стоящий поперек шоссе дорожный каток, за которым укрылись две бронемшины. Лейтенант поворачивает обратно. Но пулеметная очередь убивает его наповал и ранит шофера. Бронемшины оказались немецкими.

В сущности, штаб похож на опытного картежника, с которым стали бы советоваться из соседней комнаты:

— Что мне делать с моей дамой пик?

Тот пожал бы плечами. Что он может ответить, не видя игры?

Но штаб не имеет права пожимать плечами. Если в его руках еще остались какие-то боевые единицы, он обязан пустить их в ход и использовать все возможности, пока война еще ведется. Пусть вслепую, но он обязан действовать сам и побуждать к действию других.

Однако наугад очень трудно решить, что делать с дамой пик. Мы уже отметили, — сперва с удивлением, а потом как нечто само собой разумеющееся,

— что, когда начинается разгром, всякая работа прекращается. На первый взгляд может показаться, что побежденного захлестывает поток возникающих проблем, что, силясь разрешить их, он не шадит ни своей пехоты, ни артиллерии, ни танков, ни самолетов... Но поражение прежде всего начисто снимает все проблемы. Все карты смешиваются. Непонятно, что делать с самолетами, с танками, с дамой пик...

Изрядно поломав голову над тем, как бы по выгоднее ею сыграть, карту наугад бросают на стол. Царит не подъем, а растерянность. Подъем сопутствует только победе. Победа цементирует, победа строит. И каждый, не шадя сил, носит камни для ее здания. А поражение погружает людей в атмосферу растерянности, уныния, а главное — бессмыслицы.

Потому что прежде всего они просто бессмысленны, эти наши задания. С каждым днем все более бессмысленны. Все более губительны и все более бессмысленны. У тех, кто отдает приказы, нет иного средства задержать лавину, как только бросить на стол свои последние козыри.

Мы с Дютертром — козыри, и мы слушаем, что говорит нам майор. Он ставит задачу на сегодняшний день. Мы должны совершить дальний разведывательный полет на высоте десять тысяч метров и на обратном пути, снизившись до семисот метров, засечь скопление танков в районе Арраса. Все это он излагает таким тоном, словно говорит:

«— Потом сверните во вторую улицу направо и идите до первой площади; там, на углу, купите мне в киоске коробку спичек...

— Ясно, господин майор».

Ровно столько же пользы в нашем задании. И в словах, которыми оно излагается, ничуть не больше лиризма.

Я говорю себе: «Безнадежное задание». Я думаю... думаю о многом. Я подожду, если останусь жив, пока наступит ночь, и тогда буду размышлять. Если останусь жив... И с легкого-то задания возвращается один самолет из трех. Когда оно довольно «скверное», вернуться, конечно, труднее. И здесь, в кабинете майора, смерть не кажется мне ни возвышенной, ни великой, ни героической, ни трагичной. Она — лишь признак развала. Его результат. Группа потеряет нас, как теряют багаж в суতোлке железнодорожной пересадки.

Разумеется, у меня есть и совсем иные мысли о войне, о смерти, о самопожертвовании,

о Франции, но мне недостает руководящей идеи, ясного языка. Я мыслю противоречиями. Моя истина разъята на куски, и рассматривать их я могу только каждый в отдельности. Если я останусь жив, я подожду, пока наступит ночь, и тогда буду размышлять. Благословенная ночь. Ночью разум спит и вещи предоставлены самим себе. То, что действительно важно, вновь обретает цельность после разрушительного дневного анализа. Человек вновь соединяет куски своего мира и опять становится спокойным деревом.

День отдается семейным ссорам, ночью же к человеку возвращается Любовь. Потому что Любовь сильнее этого словесного ветра. И человек садится у окна, под звездами, — он снова чувствует ответственность и за спящих детей, и за завтрашний хлеб, и за сон жены, такой хрупкой, нежной и недолговечной. Любовь — о ней не спорят. Она есть. Пусть же наступит ночь, чтобы мне раскрылось нечто достойное любви! Чтобы я задумался о цивилизации, о судьбах человека, о том, как ценят дружбу в моей стране. И чтобы мне захотелось служить некой властной, хотя, быть может, еще и неосознанной истине...

А сейчас я похож на христианина, которого покинула благодать. Я вместе с Дютертром, разумеется, исполню свою роль, исполню ее честно, но так, как свершают обряды, когда в них уже нет религиозного смысла. Когда их уже покинул Бог. Если я останусь в живых, я подожду, пока наступит ночь, чтобы немного пройтись по дороге, пересекающей нашу деревню, и там, в моем благословенном одиночестве, я, быть может, пойму, почему я должен умереть.

Я пробуждаюсь от своих мечтаний. Майор удивляет меня странным предложением:

— Если у вас уж очень душа не лежит к этому заданию... если вы сегодня не в форме, я могу...

— Что вы, господин майор?

Майор прекрасно знает, что предложение его нелепо. Но когда экипаж не возвращается, все вспоминают, как мрачны были лица людей перед вылетом. Эту мрачность объясняют предчувствием. И корят себя за то, что не посчитались с ней.

Колебания майора напоминают мне об Израэле. Позавчера я курил у окна в отделе разведки. Из окна я увидел Израэля. Он куда-то спешил. Нос у него был красный. Длинный нос, очень еврейский и очень красный. Меня вдруг поразил красный нос Израэля.

К Израэлю, нос которого показался мне таким странным, я питал чувство глубокой дружбы. Он был одним из самых отважных летчиков в нашей группе. Одним из самых отважных и самых скромных. Ему так много говорили о еврейской осторожности, что свою отвагу он принимал за осторожность. Ведь это же осторожно — быть победителем.

Так вот, я заметил его длинный красный нос, который блеснул только на мгновение, потому что Израэль шагнул очень быстро и тут же исчез вместе со своим носом. Вовсе не думая шутить, я спросил Гавуаля:

— Почему у него такой нос?

— Таким уж мать его наградила, — ответил Гавуаль. И добавил: — Дурацкое задание на малой высоте. Он сейчас вылетает.

— А!

И вечером, когда мы уже перестали ждать возвращения Израэля, я, разумеется, вспомнил его нос, который, выдаваясь вперед на совершенно бесстрастном лице, сам по себе, с каким-то особым талантом, выражал глубочайшую озабоченность. Если бы мне пришлось отправлять Израэля на это задание, его нос долго преследовал бы меня как укор. В ответ на приказание вылететь Израэль, конечно, ответил не иначе, как: «Есть, господин майор», «Слушаюсь, господин майор», «Ясно, господин майор». На лице Израэля, конечно, не дрогнул ни один мускул. Но потихоньку, коварно, предательски начал краснеть его нос. Израэль умел распорядиться выражением своего лица, но не цветом своего носа. И нос, злоупотребив этим, самовольно вмешался в дело. Нос, без ведома Израэля, безмолвно выразил майору свое крайнее неодобрение.

Быть может, поэтому майор и не любит посылать в полет тех, кого, по его мнению, гнетут предчувствия. Предчувствия почти всегда обманывают, но из-за них боевые приказы начинают звучать как приговоры. Алиас — командир, а не судья.

Вот что произошло на днях с сержантом Т.

Насколько Израэль был отважен, настолько Т. был подвержен страху. Это единственный знакомый мне человек, которого по-настоящему мучил страх. Когда Т. получал боевой приказ, с ним творилось что-то невообразимое. Он просто впадал в транс. Его сковывало оцепенение, оно распространялось медленно и неотвратно — от ног к голове. С лица словно смывало всякое выражение, а в глазах появлялся блеск.

В противоположность Израэлю, чей нос показался мне таким смущенным, смущенным возможной гибелью Израэля, и в то же время сильно разгневанным, Т. не обнаруживал



никакого волнения. Он не реагировал: он снижал. К концу разговора становилось ясно, что Т. просто-напросто охвачен ужасом. И от этого по лицу его разливался какой-то невозмутимый покой. Отныне Т. был как бы недостижим. Чувствовалось, что между ним и миром расстилается пустыня безразличия. Никогда мне не приходилось наблюдать, чтобы нервное возбуждение проявлялось у кого-либо в такой форме.

— Ни в коем случае нельзя было посылать его в тот день, — говорил впоследствии майор.

В тот день, когда майор объявил ему о вылете, Т. не только побледнел, но даже начал улыбаться. Просто улыбаться. Так, должно быть, улыбаются под пыткой, когда палач уже переходит всякие границы.

— Вам нездоровится. Я вас заменю...

— Нет, господин майор. Раз очередь моя, значит, моя.

И Т., вытянувшись перед майором, глядел на него в упор, не шевелясь.

— Но если вы не уверены в себе...

— Сегодня моя очередь, господин майор, моя.

— Послушайте, Т. ...

— Господин майор...

Т. словно превратился в каменную глыбу.

— И я разрешил ему лететь, — добавил Алиас.

То, что произошло потом, так и осталось загадкой. Т., стрелок на борту самолета, обнаружил, что его пытается атаковать вражеский истребитель. Но у этого истребителя заклинило пулеметы, и он повернул обратно. Пилот и Т. переговаривались почти до самого возвращения на базу, причем пилот не заметил ничего необычного. Но за пять минут до посадки стрелок перестал ему отвечать.

А вечером Т. нашли с проломленным черепом, его ударило хвостовым оперением. Он прыгнул с парашютом в труднейших условиях, на полной скорости, причем над своей территорией, когда ему уже не грозила никакая опасность. Появление истребителя было для него призывным сигналом, и он не устоял.

— Идите одеваться, — говорит нам майор, — вылет в пять тридцать.

— До свиданья, господин майор.

Майор отвечает неопределенным жестом. Суеверие? Так как у меня погасла сигарета и я безуспешно шарю в карманах, он добавляет:

— Почему у вас никогда нет спичек?

Он прав. И, напутствуемый этими прощальными словами, я выхожу, спрашивая себя: «Почему у меня никогда нет спичек?»

— Не нравится ему это задание, — замечает Дютертр.

А я думаю: ему наплевать! Но, несправедливо осуждая Алиаса, я имею в виду не его. Меня поражает то, чего никто не желает признать: жизнь Духа иногда прерывается. Только жизнь Разума непрерывна или почти непрерывна. Моя способность размышлять не претерпевает больших изменений. Для Духа же важны не сами вещи, а связующий их смысл. Подлинное лицо вещей, которое он постигает сквозь внешнюю оболочку. И Дух переходит от ясновидения к абсолютной слепоте. Настает час, и тот, кто любит свой дом, вдруг обнаруживает, что это не более чем скопище разрозненных предметов. Настает час, и тот, кто любит свою жену, начинает видеть в любви одни лишь заботы, неприятности и неудобства. Настает час, и тот, кто наслаждался какой-то мелодией, становится к ней

совершенно равнодушным. Настанет час, как сегодня, — и я уже не понимаю свою родину. Родина — это не совокупность провинций, обычаев, предметов, которые всегда может охватить мой разум. Родина — это Сущность. И вот наступает час, когда я вдруг обнаруживаю, что перестал видеть Сущность.

Майор Алиас провел всю ночь у генерала в чисто логических спорах. А чистая логика разрушает жизнь Духа. Потом, на обратном пути, его измотали бесконечные дорожные заторы. Вернувшись в группу, он столкнулся со множеством мелочей, тех, что гложут понемногу, как бесчисленные последствия горного обвала, задержать который невозможно. И наконец он вызвал нас, чтобы послать на невыполнимое задание. Мы — это часть всеобщей неразберихи. Мы для майора — не Сент-Экзюпери или Дютертр, наделенные каждый своим собственным даром видеть вещи или не видеть их, думать, ходить, пить, улыбаться. Мы — куски какого-то огромного сооружения, и, чтобы постичь его в целом, требуется больше времени, большая тишина и большее отдаление... Если бы я страдал нервным тиком, Алиас заметил бы только этот тик. Он послал бы в полет над Аррасом только представление об этом тике. В хаосе навалившихся на него задач, в этой низвергающейся лавине мы сами распались на куски. Голос. Нос. Тик. А куски не волнуют.

Это относится не только к майору Алиасу, но и ко всем людям. Когда мы хлопочем об устройстве похорон, то, как бы мы ни любили умершего, мы не вступаем в соприкосновение со смертью. Смерть — это нечто огромное. Это новая цепь связей с мыслями, вещами, привычками умершего. Это новый миропорядок. С виду как будто ничего не изменилось, на самом же деле изменилось все. Страницы в книге те же, но смысл ее стал иным. Чтобы почувствовать смерть, мы должны представить себе те часы, когда нам нужен покойный. Именно тогда нам его и недостает. Представить себе часы, когда он мог бы нуждаться в нас. Но он в нас больше не нуждается. Представить себе час дружеского посещения. И почувствовать его пустоту. Мы привыкли видеть жизнь в перспективе. Но в день похорон нет ни перспективы, ни пространства. Покойный в нашем сознании еще разъят на куски. В день похорон мы суедемся, пожимаем руки настоящим или мнимым друзьям, занимаемся мелочами. Покойный умрет только завтра, в тишине. Он явится нам в своей цельности, чтобы во всей своей цельности оторваться от нашего существа. И тогда мы закричим оттого, что он уходит и мы не можем его удержать.

Я не люблю лубочных картинок, изображающих войну. На них суровый воин утирает слезу и прячет волнение за ворчливыми шутками. Это вранье. Суровый воин ничего не прячет. Если он отпускает шутку, значит, шутка у него на уме.

Дело не в личных достоинствах. Майор Алиас — сердечный человек. Если мы не вернемся, он, возможно, будет оплакивать нас больше, чем кто-либо другой. При условии, что в его сознании будем мы, а не те или иные частности. При условии, что наступит тишина и он сможет воссоздать нас. Потому что если сегодня ночью преследующий нас судебный исполнитель снова заставит группу перебазироваться, то в лавине забот сломавшееся колесо какого-нибудь грузовика на время вытеснит нашу смерть из его сознания. И Алиас забудет нас оплакать.

Так и я, отправляясь на задание, думаю не о борьбе Запада с нацизмом. Я думаю о насущных мелочах. О бессмысленности полета над Аррасом на высоте семисот метров. О бесполезности ожидаемых от нас сведений. О медленном одевании, которое кажется мне облачением в одежду смертника. А потом о перчатках. Я потерял перчатки. Где, черт побери, я раздобуду перчатки?

Я уже не вижу собора, в котором живу.  
Я облачаюсь для служения мертвому богу.

— Давай быстрее... Где перчатки? Нет... Не эти... поищи в моем мешке...

— Что-то не вижу, господин капитан.

— Ты остолоп.

Все они остолопы. И тот, который не может найти мои перчатки. И тот, другой, из штаба, со своей навязчивой идеей полета на малой высоте.

— Я просил тебя дать мне карандаш. Уже десять минут, как я прошу дать мне карандаш... Есть у тебя карандаш?

— Есть, господин капитан.

Нашелся-таки разумный человек.

— Привяжи к карандашу тесемку. И привесь его мне сюда, вот к этой петле... Послушайте, стрелок, вы что-то не торопитесь...

— Потому что я уже готов, господин капитан.

— А! Ладно...

Ну а штурман? Я переключаюсь на него.

— Как там дела, Дютертр? Все в порядке? Рассчитали курс?!!

— Курс готов, господин капитан.

Ладно. Курс готов. Безнадежное задание... Спрашивается, есть ли смысл обрекать на гибель экипаж ради сведений, которые никому не нужны и которые, даже если кто-нибудь из нас уцелеет и доставит их, никогда и никому не будут переданы...

— Наняли бы они себе спиритов, там, в штабе...

— Зачем?

— Да чтобы мы могли передать им вечером, через вертящийся столик, эти их сведения!

Я не в восторге от своего выпада, но продолжаю ворчать:

— Ох уж эти штабные! Сами бы летали на эти безнадежные задания!

Как долго тянется церемониал одевания, когда ты понимаешь, что вылет безнадежный, и старательно снаряжаешься только для того, чтобы изжариться заживо. Не так-то просто натянуть один за другим три слоя одежды, нацепить на себя целый ворох аппаратуры, которую носишь, как старьевщик, наладить подачу кислорода, систему обогрева, телефонную связь между членами экипажа. Дышу я через эту маску. Резиновая трубка связывает меня с самолетом — она так же необходима, как пуповина. Самолет регулирует температуру моей крови. Самолет обеспечивает мою связь с людьми. У меня прибавились органы, которые служат как бы посредниками между мной и моим сердцем. С каждой минутой я становлюсь все более тяжелым, более громоздким, более неподвижным. Я поворачиваюсь сразу всем туловищем, и, когда наклоняюсь, чтобы потуже затянуть ремни или застегнуть неподдающиеся «молнии», у меня трещат все суставы. Старые переломы причиняют мне боль.

— Подай-ка сюда другой шлем. Я уже сто раз говорил тебе, что старый больше не надену. Он жмет.

Дело в том, что на большой высоте череп каким-то чудом распухает. И шлем, который на земле тебе впору, на высоте девять тысяч метров сжимает кости, как в тисках.

— Так это же другой, господин капитан. Я вам его сменил...

— А! Ну ладно.

Я, конечно, ворчу, но без всяких угрызений совести, потому что я совершенно прав! Впрочем, все это не имеет ни малейшего значения. Как раз в эту минуту я в самом центре той внутренней пустыни, о которой я говорил. Здесь одни лишь обломки. Я даже не стыжусь, что мечтаю о чуде, которое изменило бы ход сегодняшних событий. Например, если откажут ларингофоны. Они всегда отказывают, эти ларингофоны! Хлам! А ведь если б они отказали, это избавило бы нас от безнадежного задания...

Ко мне с мрачным видом подходит капитан Везэн. Перед вылетом капитан Везэн с мрачным видом подходит к каждому из нас. Капитан Везэн осуществляет в нашей группе связь со службой воздушного наблюдения. Его обязанность сообщать нам о перемещении вражеских самолетов. Везэн мой друг, я его нежно люблю, но он всегда пророчит недоброе. И я жалею, что попался ему на глаза.

— Старина, — говорит Везэн, — ах, как скверно, как скверно, как скверно!

И он достает из кармана какие-то бумажки. Потом, испытующе глядя на меня, спрашивает:

— Как ты полетишь?

— Через Альбер.

— Так я и знал. Так я и знал. Ах как скверно!

— Не валяй дурака. В чем дело?

— Тебе нельзя лететь!

Мне нельзя лететь!.. Какой он добрый, этот Везэн! Пусть вымолит у Господа Бога, чтобы отказали ларингофоны!

— Тебе не прорваться.

— Почему это мне не прорваться?

— Потому что над Альбером непрерывно патрулируют три звена немецких истребителей. Одно на высоте шесть тысяч метров, другое — семь с половиной, третье — десять тысяч. Ни одно не уходит, пока не явится смена. Это заведомо неодолимая преграда. Ты угодишь в западню. А потом, погляди-ка...

И Везэн показывает мне бумажку, на которой он нацарапал какие-то непонятные схемы.

Шел бы он ко всем чертям, этот Везэн! Слова «заведомо неодолимая преграда» на меня подействовали. Мне мерещится красный сигнал и нарушение дорожных правил. Но здесь нарушение правил — это смерть. В особенности ненавистно мне слово «заведомо». У меня такое чувство, будто я уже взят на прицел.

Усилием воли я заставляю себя рассуждать здраво. Противник «заведомо» должен защищать свои позиции, а как же иначе? Все эти слова сущий вздор... Да и плевать мне на истребителей. Когда я снижусь до семисот метров, меня собьет зенитная артиллерия. Уж она-то не промахнется! И я вдруг набрасываюсь на Везэна:

— Короче, ты решил срочно сообщить мне, что, поскольку существует немецкая авиация, мой вылет — штука весьма неосторожная! Беги и доложи об этом генералу!..

А между тем Везэну ничего не стоило бы дружески ободрить меня, назвав эти пресловутые истребители просто какими-то самолетами, которые болтаются в районе Альбера...

Смысл был бы точно такой же!

Все готово. Мы в кабине. Остается проверить ларингофоны...

— Хорошо меня слышите, Дютертр?

— Слышу вас хорошо, господин капитан.

— А вы, стрелок, хорошо меня слышите?

— Я... да... отлично.

— Дютертр, вы слышите стрелка?

— Слышу его хорошо, господин капитан.

— Стрелок, вы слышите лейтенанта Дютертра?

— Я... да... отлично.

— Почему вы все время говорите. «Я... да... отлично»?

— Я ищу карандаш, господин капитан.

Ларингофоны не отказали.

— Стрелок, давление в баллонах нормальное?

— Я... да... нормальное.

— Во всех трех?

— Во всех трех.

— Дютертр, готов?

— Готов.

— Стрелок, готов?

— Готов.

— Тогда — двинулись.

И я отрываюсь от земли.

Страх возникает, когда теряешь уверенность в том, что ты это ты. Если я жду известия, которое может осчастливить меня или привести в отчаяние, я словно выброшен в небытие. Пока я пребываю в неизвестности, мои чувства и мое поведение — всего лишь преходящая личина. Время, секунда за секундой, перестает созидать — подобно тому как оно созидает дерево, — ту самую личность, которой я стану через час. Это неведомое «я» идет мне навстречу извне, словно призрак. И тогда меня охватывает страх. Дурная весть вызывает не страх, а страдание — это совсем другое дело.

Но вот время перестало течь впустую. Я наконец приступил к своим обязанностям. Я больше уже не проектируюсь в безликое будущее. Я уже не тот, кто, быть может, среди огненного вихря войдет в штопор. Будущее уже не преследует меня подобно какому-то странному видению. Отныне его создают, одно за другим, мои действия. Я тот, кто следит за компасом и держит курс 313°. Кто регулирует шаг винтов и температуру масла. Это насущные, естественные заботы. Это заботы по дому, мелкие повседневные обязанности, за которыми даже не чувствуешь, что стареешь. День становится хорошо прибранным домом, хорошо отполированной доской, хорошо поступающим кислородом. Я как раз проверяю подачу кислорода, потому что мы быстро набираем высоту: шесть тысяч семьсот метров.

— С кислородом в порядке, Дютертр? Как себя чувствуете?

— Все в порядке, господин капитан.

— Эй! Стрелок, кислород в порядке?

— Я... да... в порядке, господин капитан.

— Вы все еще ищете карандаш?

Я становлюсь и тем, кто нажимает на кнопку S и на кнопку A, чтобы проверить свои пулеметы. Кстати...

— Эй, стрелок, там позади, в вашем секторе, нет крупного населенного пункта? Не попадает он в поле обстрела?

— Гм... нет, господин капитан.

— Ну, тогда давайте. Проверьте пулеметы.

Я слышу очереди.

— Хорошо работают?

— Хорошо.

— Сработали все?

— Гм... да... все.

Я тоже стреляю. Интересно, куда летят все эти пули, которыми мы почем зря поливаем родные просторы. Они никогда никого не убивают. Земля велика.

Итак, я живу содержанием каждой минуты. Я испытываю страх не в большей степени, чем зреющий плод. Разумеется, условия моего полета изменяются. И условия и задачи. Но я сам вовлечен в изготовление этого будущего. Время понемногу лепит меня. Ребенок не приходит в ужас оттого, что он терпеливо готовит в себе старика. Он — ребенок, и он играет в свои детские игры. Я тоже играю. Я считаю циферблаты, переключатели, кнопки, рычаги моего царства. Я насчитал сто три предмета, которые надо проверять, тянуть, поворачивать или нажимать. (Я, правда, чуточку сплутовал, сосчитав за два предмета боевой спуск моих пулеметов: там есть еще предохранитель.) Вечером я удивлю фермера, у которого

квартирую. Я спрошу его:

— А вы знаете, сколько теперь у летчика приборов, за которыми он должен следить?

— Откуда же мне знать?

— Ну все-таки, назовите какую-нибудь цифру.

Какой он неучтивый, мой хозяин.

— Назовите любую цифру!

— Ну, семь.

— Сто три!

И я буду доволен.

Мое спокойствие объясняется еще и тем, что все приборы, громоздившиеся вокруг меня, заняли свои места и обрели смысл. Все эти потроха из трубок и проводов превратились в сеть кровообращения. Мой организм сросся с самолетом. Самолет создает мне уют: я поворачиваю переключатель, и моя одежда и кислород начинают обогреться. Впрочем, кислород уже перегрелся и обжигает нос. Сам кислород тоже подается в зависимости от высоты при помощи весьма сложного прибора. Меня питает моя машина. До вылета это казалось мне непостижимым, а теперь, когда сама машина кормит меня грудью, я испытываю к ней нечто вроде сыновней привязанности. Нечто вроде привязанности грудного младенца. Что касается моего веса, то он распределился по точкам опоры. Три слоя одежды, тяжелый парашют за спиной давят на сиденье. Огромные меховые сапоги упираются в педали. Руки в толстых жестких перчатках, такие неуклюжие на земле, легко управляют штурвалом. Управляют штурвалом... Управляют штурвалом...

— Дютертр!

— ...тан?

— Быстро проверьте контакты. Я слышу вас с перерывами. Вы меня слышите?

— ...шу... вас... тан...

— А ну-ка, встряхните свое хозяйство! Вы слышите меня?

Голос Дютертра снова становится ясным:

— Слышу вас отлично, господин капитан!

— Ну так вот: сегодня управление опять замерзает, штурвал ходит туго, а педали совершенно заело!

— Веселенькая история. А высота?

— Девять тысяч семьсот.

— Температура?

— Сорок восемь ниже нуля. Кислород у вас в порядке?

— В порядке, господин капитан.

— Стрелок, кислород в порядке?

Нет ответа.

— Стрелок!

Нет ответа.

— Дютертр, вы слышите стрелка?

— Не слышу, господин капитан...

— Вызовите его!

— Стрелок! Эй, стрелок!

Нет ответа.

Но прежде чем пойти на снижение, я резко встряхиваю самолет, чтобы разбудить



стрелка, если он заснул.

— Господин капитан?

— Это вы, стрелок?

— Я... гм... да...

— Вы что, не вполне в этом уверены?

— Уверен!

— Почему вы не отвечали?

— Я проверял передатчик. Я отключался!

— Балбес! Надо предупреждать! Я чуть не пошел на посадку: думал, вы умерли!

— Я... нет...

— Верю на слово. Но больше не устраивайте мне таких штук! Предупреждайте, черт побери, прежде чем отключаться!

— Слушаюсь, господин капитан. Буду предупреждать.

Дело в том, что организм не сразу ощущает нарушение подачи кислорода. Наступает легкое забытие, через несколько секунд — обморок, а через несколько минут — смерть. Поэтому пилот все время должен следить за поступлением кислорода и за самочувствием экипажа.

И я пощипываю трубку своей маски, чтобы носом ощутить теплую струю, несущую жизнь.

Словом, я занимаюсь своим ремеслом. Я не испытываю ничего, кроме физического удовольствия от насыщенных смыслом, самодовлеющих действий. У меня нет ни ощущения великой опасности (снаряжаясь в полет, я волновался куда сильнее), ни такого чувства, будто я исполняю великий долг. Битва между Западом и нацизмом сводится сейчас, в пределах моих действий, к управлению рукоятками, рычагами и краниками. Так и должно быть. Любовь ризничего к Богу сводится к любви зажигать свечи. Ризничий размеренным шагом ходит по церкви, которой он не замечает, и доволен, что канделябры у него расцветают один за другим. Когда все свечи зажжены, он потирает руки. Он гордится собой.

Я тоже великолепно отрегулировал шаг винтов и держу курс с точностью до одного градуса. Это должно восхищать Дютертра, если только он поглядывает на компас...

— Дютертр... я... курс по компасу... правильно?

— Нет, господин капитан. Чересчур отклонились. Возьмите вправо.

Вот досада!

— Пересекаем линию фронта, господин капитан. Начинаю съемку. Что у вас на высотомере?

— Десять тысяч.

— Капитан... курс!

Точно. Я отклонился влево. Это не случайно... Меня отталкивает город Альбер. Я угадываю его, хотя он очень далеко впереди. Но он уже давит на мое тело всей тяжестью своей «заведомо неодолимой преграды». Сколько воспоминаний таится в толще моего тела! Оно помнит внезапные падения, проломы черепа, вязкие, как сироп, обмороки, ночи в госпиталях. Мое тело боится ударов. Оно старается обойти Альбер. Чуть только я не— догляжу, оно сворачивает влево. Оно тянет влево, как старая лошадь, которая, испугавшись однажды какого-нибудь препятствия, потом уже всю жизнь шарахается от него в сторону. И речь идет именно о моем теле... не о моем духе... Стоит мне отвлечься, тело мое пользуется этим и незаметно пытается улизнуть от Альбера.

Ведь сейчас меня ничто особенно не тяготит. Теперь я уже не хотел бы, чтобы вылет отменили. А ведь, кажется, еще совсем недавно я об этом мечтал. Я думал: «Ларингофоны откажут. Мне так хочется спать. Пойду вздремну». И я воображал, с каким наслаждением буду нежиться в постели. Но в глубине души я все-таки знал, что отмена вылета не сулит ничего, кроме томительной хандры. Словно ждал какого-то обновления, а оно не состоялось.

Мне вспоминается школа... Когда я был мальчишкой...

— ...капитан!

— В чем дело?

— Нет, ничего... мне показалось...

Ничего хорошего не могло ему показаться.

Ну так вот... когда я был мальчишкой, в школе мы вставали ужасно рано. В шесть часов утра. Холодно. Протираешь глаза и уже заранее томишься в ожидании скучного урока грамматики. И мечтаешь заболеть, чтобы проснуться в лазарете, где монахини в белых чепцах будут подавать тебе в постель сладкое питье. Чего только не вообразишь себе об этом рае! Вот почему, если я простужался, я нарочно кашлял чуть почаще и сильнее. И, просыпаясь в лазарете, я слышал колокол, звонивший для других. Если я притворялся не в меру, этот колокол меня сурово наказывал: он превращал меня в призрак. Там, за стенами лазарета, он отзванивал настоящее время: время строгой тишины классных занятий, сутолоки перемен, тепла и уюта столовой. Для живых, там, за стенами лазарета, он создавал насыщенное существование, полное горестей, надежд, ликований, невзгод. Я же был обобран, забыт, меня тошнило от приторного питья, от влажной постели и от безликих часов.

Нет, отмена вылета ничего хорошего не сулит.

Иногда, конечно, как, например, сегодня, вылет может быть нам и не по душе. Слишком уж очевидно, что мы просто-напросто играем в войну. Мы играем в казаки-разбойники. Мы в точности соблюдаем мораль наших книг по истории и правила наших учебников. Сегодня ночью, к примеру, я выехал с машиной на аэродром. И часовой, согласно инструкции, штыком преградил дорогу моей машине, которая с таким же успехом могла быть и танком. Вот так мы и играем: штыком преграждаем дорогу танкам!

Откуда взяться увлеченности, если, играя в эти довольно жестокие шарады, мы явно исполняем роль статистов, а от нас еще требуют, чтобы мы шли на смерть? Для шарады смерть — это слишком серьезно.

Кто станет с увлечением надевать летное снаряжение? Никто. Даже Ошедэ, с его постоянной готовностью к самопожертвованию, которая и есть высшее проявление человечности, даже Ошедэ, этот праведник, и то замыкается в безмолвии. Одеваясь, мои товарищи молчат и хмурятся, и это не скромность героев. За этой хмуростью не скрывается никакого увлечения. Она выражает лишь то, что выражает. И мне она понятна. Это угрюмость управляющего, который не согласен с распоряжениями, оставленными уехавшим хозяином. И который все-таки хранит верность. Все мои товарищи мечтают о своей тихой комнате, но среди нас нет ни одного, кто и впрямь предпочел бы идти спать.

Потому что важна не увлеченность. Когда терпишь поражение, на увлеченность рассчитывать нечего. Важно одеться, сесть в кабину, оторваться от земли. То, что сам ты об этом думаешь, совсем неважно. Мальчик, который с увлечением мечтал бы об уроках грамматики, показался бы мне фальшивым и неестественным. Важно сохранять самообладание ради цели, которая в данную минуту еще не ясна. Эта цель — не для Разума, а для Духа. Дух способен любить, но он спит. В чем состоит искушение, я знаю не хуже любого отца церкви. Искушение — это соблазн уступить доводам Разума, когда спит Дух.

Какой смысл в том, что я рискую жизнью, бросаясь в эту лавину? Не знаю. Меня сто раз уговаривали: «Соглашайтесь на другую должность. Ваше место там. Там вы принесете куда больше пользы, чем в эскадрилье. Летчиков можно готовить тысячами...» Доводы были неопровержимы. Доводы всегда неопровержимы. Мой разум соглашался, но мой инстинкт брал верх над разумом.

Почему же эти рассуждения казались мне какими-то зыбкими, хотя я ничего не мог на них возразить? «Интеллигенцию держат про запас на полках Отдела пропаганды, как банки с вареньем, чтобы подать после войны...»

Но это же не ответ!

И сегодня, так же как мои товарищи, я взлетел наперекор всем рассуждениям, всякой очевидности, всему, что я мог в ту минуту возразить. Я знаю, придет время, и я пойму, что, поступив наперекор своему разуму, поступил разумно. Я обещал себе, если останусь жив, эту ночную прогулку по моей деревне. Тогда, быть может, я наконец пойму самого себя. И научусь видеть.

Возможно, мне нечего будет сказать о том, что я увижу. Когда женщина кажется мне прекрасной, мне нечего сказать. Я просто люблю ее улыбкой. Аналитик разбирает лицо и объясняет его по частям, но улыбки он уже не видит.

Знать — отнюдь не означает разбирать на части или объяснять. Знать — это принимать

то, что видишь. Но для того, чтобы видеть, надо прежде всего участвовать. А это суровая школа...

Весь день моя деревня была для меня невидима. До вылета это были только глинобитные стены и довольно неопрятные крестьяне. Теперь — это кучка щебня в десяти километрах подо мной. Вот она, моя деревня.

Но, может быть, сегодня ночью проснется и залает сторожевая собака. Я всегда наслаждался колдовским очарованием деревни, которая в ясную ночь говорит во сне одиноким голосом сторожевой собаки.

Я не надеюсь, что меня поймут, и мне это совершенно безразлично. Лишь бы явилась передо мной моя деревня, прибравшаяся перед сном, запершая на ночь запасы своего зерна, свой скот, свои вековые обычаи!

Крестьяне, вернувшись с поля, поужинают, уложат детей и, задув лампу, растворятся в безмолвии. И все исчезнет, и останется лишь мерное дыхание под добротными домоткаными простынями, — словно море, затихающее после шторма.

Ночью, когда подводятся итоги, бог на время отстраняет людей от пользования их богатствами. И пока люди будут отдыхать, по прихоти неодолимого сна разжав до утра пальцы, передо мною яснее предстанет сбереженное ими наследие.

Тогда, быть может, мне раскроется то, что трудно выразить словами. Я приду к огню, как слепой, которого ведут его ладони. Он не смог бы описать огонь, а все-таки он его нашел. Так, быть может, явится мне то, что нужно защищать, то, чего не видно, но что живет, подобно горящим углям, под пеплом деревенских ночей.

Мне нечего было ждать от отмены вылета. Чтобы постичь простую деревню, надо прежде всего...

— Капитан!

— Да?

— Шесть истребителей, шесть, впереди — слева!

Это прозвучало как удар грома.

Надо... надо... Но я хотел бы своевременно получить то, что мне причитается. Я хотел бы обрести право на любовь. Я хотел бы понять, за кого умираю...

— Стрелок!

— Капитан?

— Слышали? Шесть истребителей, шесть, впереди — слева!

— Слышал, капитан!

— Дютертр, они нас заметили?

— Заметили. Разворачиваются на нас. Мы выше метров на пятьсот.

— Стрелок, слышали? Мы выше на пятьсот метров. Дютертр! Еще далеко?

— ...несколько секунд.

— Стрелок, слышали? Через несколько секунд будут у нас в хвосте. Вот они, я их вижу!

Крохотные. Рой ядовитых ос.

— Стрелок! Они идут наперерез. Сейчас увидите. Вот они!

— Я... я ничего не вижу. А! Вижу!

А я уже потерял их из виду.

— Гонятся за нами?

— Гонятся!

— Высоту набирают быстро?

— Не знаю... Кажется, нет... Нет!

— Ваше решение, капитан?

Это спросил Дютертр.

— А что я могу решить?

И мы замолкаем.

Решать тут нечего. Все зависит только от Бога. Если я развернусь, расстояние между нами уменьшится. Мы летим прямо на солнце, а на большой высоте нельзя набрать еще пятьсот метров, не потеряв скорости и не отстав от движущейся цели на несколько километров. Поэтому может случиться, что, прежде чем они выйдут на нашу высоту и разгонятся, мы успеем исчезнуть в слепящих лучах.

— Стрелок, все еще летят?

— Летят.

— Мы отрываемся?

— Гм... нет... да!

Все зависит от Бога и от солнца.

Предвидя возможный бой (хотя истребители не столько ведут бой, сколько совершают убийство), я напрягаю все мускулы, стараясь сдвинуть замерзшие педали. Я чувствую себя как-то странно, но истребители у меня еще перед глазами. И всей своей тяжестью я наваливаюсь на упрямые педали.

Я опять замечаю, что, одеваясь, волновался гораздо больше, чем сейчас, хотя происходящее и принуждает меня к нелепому ожиданию. Меня даже охватывает злоба. Благотворная злоба.

Но никакого опьянения самопожертвованием. Я готов кусаться.

— Стрелок, уходим от них?

— Уходим, господин капитан.

Отлично.

— Дютертр... Дютертр...

— Слушаю, господин капитан.

— Нет... ничего.

— А что было, господин капитан?

— Ничего... Мне показалось... нет... ничего...

Я им ничего не скажу. Я не собираюсь над ними шутить. Если я войду в штопор, они это и сами поймут. Они и сами поймут, что я вхожу в штопор...

Странно, что я обливаюсь потом при 50° мороза. Странно. О, теперь мне понятно, что происходит: я потихоньку теряю сознание. Совсем потихоньку...

Я вижу приборную доску. Я уже не вижу приборной доски. Мои руки на штурвале слабеют. У меня даже нет сил говорить. Я забываюсь. Забыться...

Мну пальцами резиновую трубку. В нос бьет струя, несущая жизнь. Значит, кислород в порядке... Значит... Ну конечно. Я просто болван. Все дело в педалях. Я навалился на них, как грузчик, как ломовик. На высоте десять тысяч метров я вел себя, как силач в балагане. А ведь кислорода мне едва хватает. Расходовать его надо было экономно. Теперь я расплачиваюсь за свою оргию...

Я дышу слишком часто. Сердце у меня бьется быстро, очень быстро. Оно как слабый бубенчик. Я ничего не скажу моему экипажу. Если я войду в штопор, они успеют об этом узнать! Я вижу приборную доску... Я уже не вижу приборной доски... Я обливаюсь потом, и мне грустно.

Жизнь потихоньку вернулась ко мне.

— Дютертр!..

— Слушаю, господин капитан!

Мне хочется рассказать ему о случившемся.

— Я... думал... что...

Но я отказываюсь от своего намерения. Слова съедают почти весь кислород, и я запыхался уже от трех слов. Я прихожу в себя, но я еще слаб, очень слаб...

— Так что же было, господин капитан?

— Нет... ничего.

— Право, господин капитан, вы говорите загадками!

Я говорю загадками. Но зато я жив.

— ...мы их... оставили с носом!..

— О, господин капитан, до поры до времени!

До поры до времени: впереди — Аррас.

Итак, несколько минут я думал, что уже не вернусь, и все-таки не обнаружил в себе того жгучего страха, от которого, говорят, седеют волосы. И я вспоминаю Сагона. Вспоминаю о том, что рассказал нам Сагон, когда два месяца назад, через несколько дней после воздушного боя, в котором он был сбит во французской зоне, мы навестили его в госпитале. Что испытал Сагон, когда, окруженный истребителями, словно поставленный ими к стенке, он считал себя на краю гибели?

Как сейчас вижу его на госпитальной койке. Прыгая с парашютом, Сагон зацепился за хвостовое оперение и разбил себе колено, но он даже не почувствовал толчка. Лицо и руки у него довольно сильно обожжены, но в конечном счете состояние его не внушает тревоги. Он рассказывает об этом происшествии неторопливо, безразличным тоном, словно отчитывается в выполненной работе.

— ...Я понял, что они стреляют, когда со всех сторон увидел трассирующие пули. Приборная доска у меня разлетелась. Потом я заметил легкий дымок, ну совсем легкий! Откуда-то спереди. Я подумал, что это... вы же знаете, там соединительная трубка... Пламя было несильное...

Сагон морщится, напрягая память. Ему кажется важным, чтобы мы знали, сильное было пламя или несильное. Он колеблется:

— А все-таки... там был огонь... Тогда я велел им прыгать...

Потому что огонь за десять секунд превращает самолет в факел!

— Тут я открыл люк. И зря. Пламя потянуло в кабину... Мне стало немного не по себе.

На высоте семь тысяч метров паровозная топка изрыгает прямо вам в живот потоки пламени, а вам немного не по себе! Я не хочу грешить против Сагона и потому не стану превозносить его героизм или его скромность. Сагон не признал бы за собой ни героизма, ни скромности. Он сказал бы: «Нет, мне действительно стало немного не по себе...» И он явно старается быть точным.

К тому же я убежден, что поле действия сознания весьма невелико. Разом оно вмещает только что-то одно. Если вы деретесь на кулаках и захвачены стратегией боя, вы не ощущаете боли от ударов. Когда во время аварии гидроплана я был уверен, что тону, ледяная вода показалась мне теплой. Или, точнее говоря, мое сознание не отзывалось на температуру воды. Оно было поглощено другим. Температура воды мне не запомнилась. Так и сознание Сагона было поглощено техникой прыжка. Мир Сагона ограничивался рукояткой откидного люка, кольцом парашюта, которое он искал, и техникой спасения экипажа. «Вы прыгнули?» Молчание. «Есть кто-нибудь на борту?» Молчание.

— Я решил, что остался один. Я решил, что можно прыгать... (Лицо и руки у него уже были обожжены.) Я приподнялся, перетащил ногу через борт кабины и задержался на крыле. Потом наклонился вперед: гляжу, штурмана нет...

Штурман, убитый наповал огнем истребителей, лежал в глубине кабины.

— Тогда я сдвинулся назад, посмотрел — стрелка нет...

Стрелок тоже был мертв.

— Я решил, что остался один...

Он соображал:

— Если бы я знал... я мог бы опять влезть в кабину... Горело не так уж сильно... Я долго держался на крыле. Прежде чем выбраться из кабины, я поставил самолет на кабрирование. Машина шла правильно, дышать было можно, я чувствовал себя неплохо. Да-да, я долго держался на крыле... Я не знал, что делать...

Перед Сагоном вовсе не возникало каких-либо неразрешимых проблем: он считал, что остался на борту один, самолет его горел, а истребители все заходили и заходили на него, поливая его пулями. Из рассказа Сагона нам стало ясно одно: он не испытывал никаких

желаний. Он ничего не испытывал. Времени у него было сколько угодно. Делать ему было совершенно нечего. И постепенно я познавал это странное ощущение, иногда сопровождающее неизбежность близкой смерти: вдруг тебе становится нечего делать... Как это непохоже на всякие басни о дух захватывающем низвержении в небытие! Сагон оставался там, на крыле, словно выброшенный за пределы времени.

— А потом я прыгнул, — сказал он, — прыгнул неудачно. Меня закрутило. Я боялся слишком рано дернуть за кольцо, чтобы не запутаться в парашюте. Подождал, пока не выровняюсь. О, ждал я долго...

Итак, Сагону запомнилось, что от начала и до конца происшествия он чего-то ждал. Ждал, пока пламя станет сильнее. Потом, неизвестно чего, ждал на крыле. И во время свободного падения по вертикали на землю тоже ждал.

И это был Сагон, да, это был заурядный Сагон, еще более простой, чем обычно, Сагон, который, стоя над бездной, с недоумением и досадой топтался на месте.



Вот уже два часа мы парим в атмосфере, где давление в несколько раз ниже нормального. Экипаж понемногу изматывается. Мы почти не разговариваем. Раза два я еще попытался осторожно нажать на педали. Но я не упорствовал. Каждый раз меня охватывало все то же чувство сладкого изнеможения.

Дютертр задолго предупреждает меня о виражах, необходимых ему для фотосъемки. Я кое-как выкручиваюсь, хотя штурвал почти совсем замерз. Я создаю крен и беру штурвал немного на себя, машина с грехом пополам входит в вираж, и Дютертр успевает заснять кадров двадцать.

**Больше книг Вы можете скачать на сайте - [Knigochei.net](http://Knigochei.net)**

— Какая высота?

— Десять двести...

Я все еще думаю о Сагоне... Человек всегда остается самим собой. Все мы разные люди. И в себе самом я всегда обнаруживал лишь самого себя. Сагон знал одного лишь Сагона. Тот, кто умирает, умирает тем, кем он был. И если смерть постигла простого шахтера, умирает простой шахтер. Где оно, то дикое безумие, которое выдумывают писатели, чтобы нас потрясти?

В Испании я видел, как из-под обломков разрушенного снарядом дома извлекли человека, которого откапывали несколько дней. Безмолвно и, казалось, внезапно оробев, толпа окружила его — его, вернувшегося чуть ли не с того света. Покрытый мусором и щепнем, почти обезумевший от удушья и голода, он был похож на ископаемое чудовище. Когда кое-кто, осмелившись, начал задавать ему вопросы, а он с тупым вниманием стал прислушиваться, робость толпы сменилась чувством неловкости.

Ключи, которыми пробовали отпереть его сознание, не подходили, потому что никто не умел задать ему главный вопрос. Его спрашивали: «Что вы чувствовали... О чем думали... Что делали...» — словно перебрасывали наугад мостки через пропасть. Так хватаются за первое попавшееся средство, чтобы привлечь внимание погруженного в ночь глухонемого слепца, которого пытаются спасти.

Но когда человек смог отвечать, он сказал:

— Да-да, я слышал какой-то треск...

Или еще:

— Мне было тяжело. Это тянулось долго... Ох как долго...

Или:

— Болела поясница, сильно болела...

И этот человек рассказывал нам только об этом человеке. Больше всего он говорил о часах, которые потерял...

— Уж я искал их, искал... хорошие были часы... но в этой крошечной тьме...

Разумеется, жизнь научила его ощущать течение времени и любить привычные вещи. И для восприятия своего мира, пусть даже ограниченного обвалом и тьмой, он располагал чувствами лишь того человека, каким он был. И на главный вопрос, которого никто так и не сумел ему задать, но который вертелся у всех на языке: «Кем вы были? Кого вы открыли в себе?» — он мог бы ответить только одно: «Самого себя».

Ни при каких обстоятельствах в человеке не может проснуться кто-то другой, о ком он

прежде ничего не подозревал. Жить — значит медленно рождаться. Это было бы чересчур легко — брать уже готовые души!

Порою кажется, будто внезапное озарение может совершенно перевернуть человеческую судьбу. Но озарение означает лишь то, что Духу внезапно открылся медленно подготовлявшийся путь. Я долго изучал грамматику. Меня учили синтаксису. Во мне пробудили чувства. И вдруг в мое сердце постучалась поэма.

Конечно, сейчас я не чувствую никакой любви, но если сегодня вечером что-то откроется мне, значит я уже раньше трудился и носил камни для невидимого сооружения. Я сам готовлю свое празднество, и я не вправе буду говорить, что внезапно во мне возник кто-то другой, потому что этого другого создаю я сам.

От всех моих военных приключений я не жду ничего, кроме этой медленной подготовки. Она окупится потом, как грамматика...

Это медленное изматывание притупило в нас ощущение жизни. Мы стареем. Задание старит. Чего стоит полет на большой высоте? Соответствует ли один час, прожитый на высоте десять тысяч метров, неделе, трем неделям или месяцу нормальной жизни организма, нормальной работы сердца, легких, артерий? Впрочем, не все ли равно! Мои полуобмороки состарили меня на века; я погрузился в старческую безмятежность. Все, что волновало меня, когда я снаряжался в полет, кажется теперь затерянным в бесконечно далеком прошлом. А Аррас — в бесконечно далеком будущем. Ну а военные приключения? Где они, эти приключения?

Всего минут десять назад я едва не погиб, а рассказать мне не о чем, разве что о крохотных осях, промелькнувших передо мной за три секунды. Настоящее же приключение длилось бы десятую долю секунды. Но никто из нас не возвращается, не возвращается никогда, чтобы о нем рассказать.

— Дайте-ка левой ноги, капитан.

Дютертр забыл, что педали замерзли. А мне вспоминается поразившая меня в детстве картинка. Она изображала, на фоне северного сияния, странное кладбище погибших кораблей, затертых полярными льдами. В пепельном свете вечных сумерек они простирали свои обледеневшие руки. Среди мертвого штиля их все еще натянутые паруса хранили отпечаток ветра, как постель сохраняет отпечаток нежного плеча. Но чувствовалось, что они жесткие и ломкие.

Здесь тоже все замерзло. Рычаги замерзли. Пулеметы замерзли. И когда я спросил у стрелка:

— Как пулеметы?

Он ответил:

— Не работают.

— Ладно.

В респиратор кислородной маски я выплевываю ледяные иглы. Время от времени сквозь гибкую резину приходится раздавливать ледяную пробку, которая не дает мне дышать! Когда я сжимаю трубку, я чувствую, как в руке у меня трещит лед.

— Стрелок, кислород в порядке?

— В порядке.

— Какое давление в баллонах?

— Гм... Семьдесят...

— Ладно.

Время для нас тоже замерзло. Мы — три седобородых старца. Ничто не движется. Ничто не торопит. Ничто не страшит.

Боевые подвиги? Однажды майор Алиас почему-то предупредил меня:

— Будьте осторожнее!

Быть осторожнее, майор Алиас? Каким образом? Истребители поражают сверху, словно молния. Летящий выше на полторы тысячи метров отряд истребителей, обнаружив вас под собой, может не торопиться. Он маневрирует, ориентируется, занимает выгодную позицию. А вы еще ничего не знаете. Вы — мышь, над которой простерлась тень хищника. Мышь воображает, что она живет. Она еще резвится во ржи. Но она уже в плену у ястребиного глаза, она прилипла к его зрачку крепче, чем к смоле, потому что ястреб ее уже не выпустит.

Так же и с вами. Вы продолжаете вести самолет, вы мечтаете, наблюдаете за землей, а между тем вас уже обрекла на гибель едва заметная черная точка, появившаяся в зрачке человека.

Девять истребителей обрушатся на вас по вертикали, когда им заблагорассудится. Времени у них хоть отбавляй. На скорости девятьсот километров в час они нанесут страшный удар гарпуном, который безошибочно поражает жертву. Эскадра бомбардировщиков обладает такой огневой мощью, что ей еще есть смысл обороняться, но один разведывательный самолет, затерянный в небе, никогда не одолеет семидесяти двух пулеметов, да и обнаружить-то их он сможет лишь по светящемуся снопу их пуль.

В тот самый миг, когда вам станет ясно, что вы под ударом, истребитель, подобно кобре, разом выпустив свой яд и уже выйдя из поля обстрела, недостижимый, повиснет над вами. Так раскачиваются кобры, молниеносно жалят и снова начинают раскачиваться.

Значит, когда истребители исчезли, еще ничто не изменилось. Даже лица не изменились. Они меняются теперь, когда небо опустело и опять воцарился покой. Истребитель уже стал всего лишь бесстрастным очевидцем, а из рассеченной сонной артерии штурмана брызжет первая струйка крови, из капота правого мотора неуверенно пробивается первое пламя, которое сейчас забушует, как огонь в горне. Кобра уже успела свернуться, а яд ее проникает в сердце, и на лице судорожно вздрагивает первый мускул. Истребители не убивают. Они сеют смерть. И смерть дает всходы, когда истребители уже далеко.

Быть осторожнее, майор Алиас? Но каким образом? Когда мы встретились с истребителями, мне нечего было решать. Я мог и не знать о их появлении. Если бы они летели прямо надо мной, я бы даже не узнал об этом! Быть осторожнее? Но ведь небо пусто.

И земля пуста.

Когда ведешь наблюдение с высоты десять километров, человека не существует. В таком масштабе движения человека неразличимы. Наши длиннофокусные фотоаппараты служат нам микроскопами. Микроскоп нужен здесь для того, чтобы разглядеть не человека, — его и с помощью этого прибора не увидишь, — а лишь признаки человеческого присутствия: дороги, каналы, поезда, баржи. Человек оживляет то, что мы видим под микроскопом. Я бесстрастный ученый, и война этих микробов для меня сейчас всего лишь предмет лабораторного исследования.

— Дютертр, стреляют?

— Кажется, стреляют.

Откуда ему знать? Разрывы слишком далеки, и пятна дыма сливаются с землей. Они, конечно, и не надеются сбить нас таким неточным огнем. На высоте десять тысяч метров мы

практически неуязвимы. Они стреляют, чтобы определить наше положение и, может быть, навести на нас истребителей. Истребителей, затерянных в небе, подобно невидимой пыли.

С земли нас видно благодаря белому перламутровому шлейфу, который самолет, летя на большой высоте, волочит за собой, как подвенечную фату. Сотрясение, вызываемое полетом, кристаллизует водяные пары атмосферы. И мы разматываем за собой перистую ленту из ледяных игл. Если атмосферные условия благоприятствуют образованию облаков, этот след будет медленно распухать и превратится в вечернее облако над полями.

Истребители могут обнаружить нас по бортовой рации, по пучкам разрывов и, наконец, благодаря вызывающей роскоши нашего белого шлейфа. И все-таки мы парим в почти космической пустоте.

Мы летим — я знаю точно — со скоростью пятьсот тридцать километров в час... А между тем все остановилось. Скорость ощутима на беговой дорожке. Здесь же все погружено в пустоту. Так и земля: несмотря на скорость сорок два километра в секунду, кажется, что она оборачивается вокруг солнца довольно медленно. Она тратит на это целый год. Нас, быть может, тоже медленно нагоняет что-то, к нам тоже что-то тяготеет. Сколько самолетов приходится на единицу пространства в воздушной войне? Они — как пылинки под куполом собора. Сами пылинки, мы, быть может, притягиваем к себе несколько десятков или сотен других пылинок. И вся эта пыль медленно поднимается в лучах солнца, словно где-то вытряхивают ковер.

Чего мне опасаться, майор Алиас? Внизу, по вертикали, сквозь недвижимое чистое стекло я вижу лишь какие-то безделушки прошлых веков. Я склоняюсь над музейными витринами. Но вот я повернул и теперь смотрю на них против света: где-то далеко впереди, конечно, Дюнкерк и море. Но под углом мне уже трудно что-нибудь различить. Солнце сейчас совсем низко, и я лечу над огромным сверкающим зеркалом.

— Дютертр, вы что-нибудь видите сквозь эту мерзость?

— По вертикали вижу, господин капитан...

— Эй, стрелок, как там истребители?

— Ничего нового...

Я действительно понятия не имею, преследуют нас или нет и видно ли с земли, как за нами гонится множество шлейфов из паутины, похожих на тот, что мы волочим за собой.

«Шлейф из паутины». Эти слова будят мое воображение. Передо мной возникает образ, который сперва кажется мне великолепным: «...недоступные, как ослепительно красивая женщина, мы шествуем навстречу своей судьбе, медленно влача за собой длинный шлейф из ледяных звезд...»

— Дайте-ка левой ноги!

Вот это действительность. Но я снова возвращаюсь к своей дешевой поэзии:

«...вслед за этим виражом повернет и весь сонм наших поклонников...»

Дать левой... дать левой...

Легко сказать! Ослепительно красивой женщине не удастся ее вираж.

— Если будете петь... вам не поздоровится... господин капитан.

Неужели я пел?

Впрочем, Дютертр отбивает у меня всякую охоту к легкой музыке:

— Я почти закончил съемку. Скоро можно снижаться к Аррасу.

Можно... Можно... разумеется! Надо пользоваться удобным случаем.

Вот так штука! Рукоятки сектора газа тоже замерзли...

И я думаю:

«На этой неделе из трех вылетевших экипажей вернулся один. Стало быть, шансов очень мало. Но даже если мы вернемся, нам нечего будет рассказать. В жизни мне случалось совершать то, что принято называть подвигами: прокладка почтовых линий, столкновения в Сахаре, Южная Америка... Но война — не настоящий подвиг, война — это суррогат подвига. В основе подвига — богатство связей, которые он создает, задачи, которые он ставит, свершения, к которым побуждает. Простая игра в орлянку еще не превратится в подвиг, даже если ставкой в ней будет жизнь или смерть. Война это не подвиг. Война — болезнь. Вроде тифа».

Быть может, когда-нибудь потом я пойму, что моим единственным настоящим подвигом во время войны было то, что связано с комнатой на ферме в Орконте.

В Орконтe, деревне близ Сен-Дизье, где суровой зимой тридцать девятого года базировалась моя авиагруппа, я жил в глинобитном домике. Ночью температура падала настолько, что вода в деревенском кувшине превращалась в лед, и потому, прежде чем одеваться, я первым делом затапливал печь. Но для этого мне приходилось вылезать из теплой постели, где я блаженствовал, свернувшись калачиком.

Для меня не было ничего лучше этого простого монастырского ложа в этой пустой и промерзшей комнате. Здесь я вкушал безмятежный покой после тяжелого дня. Здесь я наслаждался безопасностью. Мне здесь ничто не угрожало. Днем мое тело подвергалось суровым испытаниям большой высоты, днем его подстерегали смертоносные осколки. Днем оно могло стать средоточием страданий, его могли незаслуженно разорвать на части. Днем мое тело мне не принадлежало. Больше не принадлежало. Его могли лишитъ рук, ног, из него могли выпустить кровь. Потому что — и это тоже только на войне — ваше тело превращается в склад предметов, которые вам уже не принадлежат. Является судебный исполнитель и требует ваши глаза. И вы отдаете ему свою способность видеть. Является судебный исполнитель и требует ваши ноги. И вы отдаете ему свою способность ходить. Является судебный исполнитель с факелом и требует всю кожу с вашего лица. И вот вы становитесь страшилищем, потому что откупились от судебного исполнителя своей способностью дружески улыбаться людям. Итак, тело, которое в тот самый день могло оказаться моим врагом и причинить мне боль, тело, которое могло превратиться в фабрику стонов, — это тело пока еще оставалось моим другом, послушным и близким, уютно свернувшимся калачиком и дремлющим на простыне, и не поверяло моему сознанию ничего, кроме радости бытия, ничего, кроме блаженного похрапывания. Но я, хочешь не хочешь, должен был извлечь его из постели, вымыть ледяной водой, побрить, одеть, чтобы в таком безупречном виде предоставить в распоряжение стальных осколков. И мне казалось, что, извлекая свое тело из постели, я словно вырываю дитя из материнских объятий, отрываю его от материнской груди, от всего, что в детстве ласкает, нежит, защищает тело ребенка.

И тогда, хорошенько взвесив и обдумав свое решение, оттянув его как только можно, я, стиснув зубы, одним прыжком бросался к печке, швырял в нее охапку дров и обливал их бензином. Затем, когда пламя охватывало дрова, я вновь совершал переход через комнату и опять забирался в постель, где было еще тепло, и оттуда, зарывшись под одеяла и перину, одним только левым глазом следил за печкой. Сначала она не разгоралась, потом на потолке начинали пробегать отсветы вспышек. Потом огонь охватывал всю охапку: так веселье охватывает гостей на удавшемся празднике. Дрова принимались трещать, гудеть и напевать. Становилось весело, как на деревенской свадьбе, когда гости подвыпьют и начинают шуметь и подталкивать друг друга локтями.

А иногда мне казалось, что мой добрый огонь неусыпно охраняет меня, как проворный сторожевой пес, который преданно служит хозяину. Глядя на огонь, я тайно ликовал. И когда праздник был уже в полном разгаре, и тени плясали на потолке, и звучала эта жаркая золотистая музыка, а в углах печи громоздились горы раскаленных углей, когда вся комната наполнялась волшебным запахом смолы и дыма, — тогда я прыжком покидал одного друга ради другого, я бежал от постели к огню, предпочитая более щедрого, и, право, не знаю, поджаривал лия себе живот или согревал сердце. Из двух соблазнов я малодушно уступал

более заманчивому сверкающему, тому, который шумнее и ярче себя рекламировал.

И так три раза: сперва, чтобы растопить печь, потом, чтобы улечься обратно и, наконец, чтобы вернуться и собрать урожай тепла, — три раза стуча зубами, я пересекал ледяную пустыню моей комнаты и в известной мере постигал, что такое полярная экспедиция. Я несся через пустыню к блаженной посадке, и меня вознаграждал этот жаркий огонь, плясавший передо мной, для меня, свою пляску сторожевого пса.

Все это как будто пустяки. Но для меня это было настоящим подвигом. Моя комната с очевидностью явила мне то, чего я никогда не смог бы открыть в ней, если бы мне случилось попасть сюда в качестве простого туриста. Тогда она показалась бы мне ничем не примечательной пустой комнатой с кроватью, кувшином и плохонькой печью. Я зевнул бы в ней раз-другой — и только. Как мог я распознать три ее облика, три заключенных в ней царства: сна, огня и пустыни? Как мог я предугадать все превращения тела, которое сначала было телом ребенка, прильнувшего к материнской груди, согретым и защищенным, потом телом солдата, созданным для страданий, потом телом человека, обогащенного радостью обладания огнем, этой святыней, вокруг которой собирается племя? Огонь воздаст честь и хозяину, и его друзьям. Навещая друга, они участвуют в его празднестве, они усаживаются вокруг него в кружок и, беседуя о насущных заботах, о своих тревогах и трудах, говорят, потирая руки и набивая табачок в трубку: «До чего приятно посидеть у огонька!»

Но нет больше огня, чтобы я мог поверить в нежность. Нет больше промерзшей комнаты, чтобы я мог поверить в подвиг. Я пробуждаюсь от своих грез. Есть только абсолютная пустота. Есть только глубокая старость. Есть только голос, голос Дютертра, упорствующего в своей невыполнимой просьбе:

— Дайте-ка левой ноги, господин капитан...

Я исправно выполняю свою работу. Несмотря на то что мы — экипаж, обреченный на поражение. Я погружен в атмосферу поражения. Поражение сочтется отовсюду, и признак его я даже держу в руке.

Рукоятки сектора газа замерзли. Я вынужден идти на полном режиме. И вот эти два куска железа ставят меня перед неразрешимыми проблемами.

На моем самолете предел увеличения шага винтов сильно занижен. Если я буду пикировать на полном газу, мне вряд ли избежать скорости, близкой к восьмистам километрам в час, и раскрутки винтов. А раскрутка винтов может привести к разрыву вала.

В крайнем случае я мог бы выключить зажигание. Но тогда я пойду на неизбежную аварию. Эта авария приведет к срыву задания, и, возможно, к потере самолета. Не всякая местность пригодна для посадки машины, касающейся земли на скорости сто восемьдесят километров в час.

Значит, во что бы то ни стало надо освободить рукоятки. После первого усилия мне удастся одолеть левую. Но правая все еще не слушается.

Теперь я мог бы снизиться на допустимой скорости, убавив обороты хотя бы одного, левого мотора, которым я могу управлять. Но если я уменьшу число оборотов левого мотора, мне придется компенсировать боковую тягу правого, которая неизбежно будет разворачивать машину влево. Мне надо этому противодействовать. А педали, посредством которых это достигается, тоже совершенно замерзли. Значит, я лишен возможности что-либо компенсировать. Если я убавлю обороты левого мотора, то войду в штопор.

Итак, мне ничего не остается, как пойти на риск и превысить предел числа оборотов, за которым теоретически возможен разрыв вала. Три тысячи пятьсот оборотов: угроза разрыва.

Все это бессмысленно. Все неисправно. Наш мир состоит из множества не пригнанных друг к другу шестеренок. И дело здесь не в механизмах, а в Часовщике. Не хватает Часовщика.

Мы воюем уже девять месяцев, а нам до сих пор не удалось добиться, чтобы заводы, выпускающие пулеметы и системы управления, приспособили их к условиям большой высоты. И происходит это не из-за нерадивости людей. Люди в большинстве своем честны и добросовестны. Их инертность почти всегда следствие, а не причина бесплодности их усилий.

Эта бесплодность гнетет нас всех, словно рок. Она гнетет пехотинцев, вооруженных штыками против танков. Она гнетет летчиков, которые сражаются один против десяти. Она гнетет даже тех, кому следовало бы заниматься модернизацией пулеметов и систем управления.

Мы живем в слепом чреве администрации. Администрация — это машина. Чем она совершеннее, тем меньше она оставляет места для вмешательства человека. При безусловно действующей администрации, где человек играет роль шестеренки, его лень, недобросовестность, несправедливость никак не могут проявиться.

Но, подобно машине, построенной для того, чтобы последовательно производить раз навсегда предусмотренные движения, администрация не способна действовать творчески. Она применяет такое-то наказание к такому-то проступку, отвечает таким-то решением на такую-то задачу. Администрация создана не для того, чтобы решать новые задачи. Если в



штамповальный станок закладывать куски дерева, он не начнет выпускать мебель. Чтобы приспособить его к этому, человек должен иметь право его переделать. Но в администрации, созданной для того, чтобы предотвращать нежелательное человеческое вмешательство, шестеренки отвергают волю человека. Они отвергают Часовщика.

Я состою в группе 2/33 с ноября. Как только я прибыл, товарищи предупредили меня:

— Теперь будешь болтаться над Германией без пулеметов и без управления.

И в утешение прибавили:

— Не волнуйся. Это не меняет дела: истребители все равно сбивают нас прежде, чем мы успеваем их заметить.

И вот в мае, спустя полгода после этого разговора, пулеметы и управление продолжают замерзать.

Я вспоминаю изречение, древнее, как моя страна: «Когда кажется, что Франция уже погибла, ее спасает чудо». Я понял, почему это так. Бывало, страшная катастрофа приводила в негодность нашу превосходную административную машину, и становилось ясно, что починить ее невозможно. Тогда, за неимением лучшего, ее заменяли простыми людьми. И эти люди спасали все.

Когда вражеская бомба превратит министерство авиации в груды пепла, срочно призовут первого попавшегося капрала и скажут ему:

— Вам поручается сделать так, чтобы управление не замерзло. Вам предоставляются неограниченные полномочия. Делайте что угодно. Но если через две недели оно по-прежнему будет замерзать, вы пойдете на каторгу. Тогда, быть может, управление отгадет.

Я могу привести сотни примеров такого порочного администрирования. В одном из северных департаментов комиссии интендантства реквизировали стельных коров и превратили бойни в кладбище телят, еще не вышедших из материнской утробы. Ни один винтик этой машины, ни один полковник интендантской службы не мог действовать иначе, чем в качестве винтика. Все они подчинялись другому винтику — как в часовом механизме. Всякое неповиновение было бесполезно. Поэтому как только машина начала разлаживаться, она принялась вовсю забивать стельных коров. Пожалуй, это было еще наименьшее зло. Окажись повреждение более серьезным, та же машина, чего доброго, стала бы забивать интендантских полковников.

Я до мозга костей подавлен этим всеобщим развалом. Но так как сейчас, по-видимому, не стоит губить один из моих моторов, я еще раз наваливаюсь на правую рукоятку. Обозлившись, нажимаю изо всех сил. И тут же отпускаю. От напряжения у меня опять закололо в сердце. Право же, человек не приспособлен к физическим упражнениям на высоте десять тысяч метров. Я чувствую приглушенную боль, словно укор совести, неожиданно пробудившейся среди глубокого сна всего тела.

Моторы пусть разваливаются, если им так хочется. Мне на них наплевать. Я стараюсь вздохнуть. Кажется, мне никогда не удастся вздохнуть, если я позволю себе отвлечься. Я вспоминаю мехи, которыми в старину раздували огонь. Я раздуваю свой огонь. И мне очень хочется убедить его, чтобы он снова «занялся».

Что же я так непоправимо испортил? На высоте десять тысяч метров слишком резкое физическое усилие может вызвать разрыв сердечной мышцы. Сердце — вещь очень хрупкая. А служить оно должно долго. Глупо рисковать им ради такой грубой работы. Это все равно что жечь алмазы ради того, чтобы испечь яблоко.

Это все равно что сжечь на севере все деревни, хотя, уничтожив их, нельзя даже и на полдня задержать наступление немцев. И все-таки эти бесчисленные деревни, эти старинные церкви, эти старинные дома, со всем их грузом воспоминаний, с натертыми до блеска ореховыми паркетами, с добротным бельем в шкафах и кружевными занавесками, которым до сих пор не было сносу,

— я вижу, как все это от Дюнкерка до Эльзаса охвачено пламенем.

«Охвачено пламенем» — сказано слишком сильно: когда наблюдаешь с высоты десять тысяч метров, над деревнями, как и над лесами, виден только неподвижный дым, что-то вроде беловатого студня. Огонь превращается в скрытое сгорание. На высоте десять тысяч метров время словно замедляет свой бег, потому что никакого движения нет. Нет треска пламени, нет грохота падающих балок, нет вихрей, черного дыма. Нет ничего, кроме этой сероватой мути, застывшей в янтаре.

Исцелят ли когда-нибудь этот лес? Исцелят ли эту деревню? С такой высоты кажется, что огонь снедает их медленно, как болезнь.

По этому поводу можно многое сказать. «Мы не будем щадить деревни». Я слышал эти слова. И слова эти были необходимы. Во время войны деревня это уже не средоточие традиций. В руках врага она превращается в жалкую дыру. Все меняет смысл. К примеру, эти столетние деревья осеняли ваш старый родительский дом. Но они заслоняют поле обстрела двадцатидвухлетнему лейтенанту. И вот он отряжает взвод солдат, чтобы уничтожить это творение времени. Ради десятиминутной операции он стирает с лица земли триста лет упорного труда человека и солнечных лучей, триста лет культа домашнего очага и обручений под сенью парка. Вы говорите ему:

— Мои деревья!

Он вас не слышит. Он воюет. Он прав.

Но сейчас жгут деревни ради игры в войну, ради этого рубят парки, и жертвуют летными экипажами, и посылают пехоту против танков. И становится невыразимо тошно. Потому что все это не имеет смысла.

Враг уяснил себе одну очевидную истину и пользуется ею. Люди занимают немного места на необъятных просторах земли. Чтобы построить солдат сплошной стеной, их потребовалось бы сто миллионов. Значит, промежутки между войсковыми частями неизбежны. Устранить их, как правило, можно подвижностью войск, но для вражеских танков слабо моторизованная армия как бы неподвижна. Значит, промежуток становится для них настоящей брешью. Отсюда простое тактическое правило: «Танковая дивизия действует, как вода. Она оказывает легкое давление на оборону противника и продвигается только там, где не встречает сопротивления». И танки давят на линию обороны. Промежутки имеются в ней всегда. Танки всегда проходят.

Эти танковые рейды, воспрепятствовать которым за неимением собственных танков мы бессильны, наносят непоправимый урон, хотя на первый взгляд они производят лишь незначительные разрушения (захват местных штабов, обрыв телефонных линий, поджог деревень). Танки играют роль химических веществ, которые разрушают не сам организм, а его нервы и лимфатические узлы. Там, где молнией пронеслись танки, сметая все на своем пути, любая армия, даже если с виду она почти не понесла потерь, уже перестала быть

армией. Она превратилась в отдельные сгустки. Вместо единого организма остались только не связанные друг с другом органы. А между этими сгустками, — как бы отважны ни были солдаты, — противник продвигается беспрепятственно. Армия теряет боеспособность, когда она превращается в скопище солдат.

Технические средства не создаются за две недели. Ни даже... Мы не могли не отстать в гонке вооружений. Нас было сорок миллионов земледельцев против восьмидесяти миллионов, занятых в промышленности!

Мы воюем один против трех. У нас один самолет против десяти или двадцати и, после Дюнкерка, — один танк против ста. Нам некогда размышлять о прошлом. Мы живем в настоящем. А настоящее таково. Никакая наша жертва никогда и нигде не может задержать наступление немцев.

Поэтому сверху донизу гражданской и военной иерархии, от водопроводчика до министра, от солдата до генерала, все чувствуют нечто вроде угрызений совести, но никто не может и не смеет их выразить. Жертва теряет всякое величие, если она становится лишь пародией на жертву или самоубийством. Самопожертвование прекрасно, когда гибнут немногие ради спасения остальных. Во время пожара приходится жертвовать меньшим ради спасения большего. В укрепленном лагере бьются насмерть, чтобы дать время своим подойти на выручку. Да, это так. Но что бы мы сейчас ни делали, Огонь охватит все. И нет лагеря, который мы могли бы укрепить. И нечего надеяться, что кто-то придет нам на выручку. И кажется, мы просто обрекаем на гибель тех, за кого мы сражаемся, или делаем вид, что сражаемся, потому что самолет, сметающий города в тылу войск, полностью изменил характер войны.

Люди сторонние будут впоследствии упрекать Францию за те несколько мостов, которые не были взорваны, за те несколько деревень, которые не были сожжены, и за тех солдат, что остались в живых. Но меня поражает как раз обратное. Меня поражает та безграничная готовность, с которой мы зажимаем глаза и затыкаем уши. Поражает наша безнадежная борьба против очевидности. Все уже потеряло смысл, — а мы упрямо взрываем мосты, чтобы продолжать игру. Мы сжигаем настоящие деревни, чтобы продолжать игру. И, чтобы продолжать игру, умирают наши солдаты.

Разумеется, кое-что и забывают! Забывают взорвать мост, забывают поджечь деревню, порою падая жизнь солдат. Но трагизм этого разгрома в том, что он лишает действия всякого смысла. Солдат, взрывающий мост, не может не испытывать отвращения. Этот солдат не задерживает врага: он превращает мост в груду развалин, и только. Он калечит свою родину, лишь бы получилась удачная карикатура на войну!

Действовать с воодушевлением можно только тогда, когда действия имеют очевидный смысл. Не жаль спалить урожай, если под его пеплом будет погребен враг. Но врагу, который опирается на свои сто шестьдесят дивизий, плевать на наши пожары и на гибель наших солдат.

Нужно, чтобы то, ради чего сжигают деревню, стоило самой деревни. Но теперь значение сожженной деревни стало лишь карикатурой на значение.

Нужно, чтобы то, ради чего умираешь, стоило самой смерти. Хорошо или плохо сражаются солдаты? Уже сам этот вопрос лишен всякого смысла! Теоретически известно, что населенный пункт способен обороняться не больше трех часов. Но солдаты получили приказ удерживать его. Не имея никаких средств для борьбы, они сами побуждают врага разрушить селение, только бы соблюсти правила игры в войну. Как услужливый противник

за шахматной доской: «Ты забыл взять мою пешку...» Так и мы бросаем врагу: «Мы защитники этой деревни. Вы нападающие. Ну так валяйте!»

Предложение принято. Вражеская эскадрилья растаптывает деревню своим каблуком.

— Все по правилам!

Есть, конечно, люди пассивные, но пассивность — это скрытая форма отчаяния. Есть, конечно, и дезертиры. Сам майор Алиас раза два-три угрожал револьвером угрюмым беглецам, попадавшимся ему на дорогах и невпопад отвечавшим на его вопросы. Так хочется схватить виновника катастрофы и, уничтожив его, спасти все! Беглецы виновны в бегстве, потому что, не будь беглецов, не было бы и бегства. И если и навести на них револьвер, все пойдет хорошо... Но ведь это все равно что заживо хоронить больных с целью уничтожить болезнь. В конце концов майор Алиас снова прятал револьвер в карман, потому что в его собственных глазах этот револьвер внезапно принимал чересчур помпезный вид, словно опереточная сабля. Алиас прекрасно понимал, что эти угрюмые солдаты — следствие катастрофы, а не ее причина.

Алиас прекрасно знает, что это такие же, точно такие же солдаты, как и те, которые в другом месте, сегодня еще, идут на смерть. Ведь за последние две недели сто пятьдесят тысяч уже пошли на смерть. Но есть умники, которые требуют, чтобы им объяснили, зачем это нужно. А объяснять трудно.

Бегун должен пробежать дистанцию своей жизни, состязаясь с бегунами своего же разряда. Но у самого старта он замечает, что тащит на ноге ядро каторжника. А его соперники летят, как на крыльях. Борьба теряет всякий смысл. Человек сходит с дистанции.

— Это не в счет...

— В счет! В счет!..

Что придумать, чтобы все-таки заставить человека вложить все свои силы в состязание, которое уже перестало быть состязанием?

Алиасу хорошо известно, что думают солдаты. Они тоже думают: «Это не в счет...»

Алиас прячет свой револьвер и ищет убедительный ответ.

Есть только один убедительный ответ. Один-единственный. Пусть кто-нибудь попробует найти другой:

— Ваша смерть ничего не изменит. Поражение уже свершилось. Но полагается, чтобы поражение выразилось в потерях. Должны быть убитые. Сегодня ваша очередь сыграть эту роль.

— Слушаюсь, господин майор.

Алиас не презирает беглецов. Он прекрасно знает, что его убедительного ответа всегда бывало достаточно. Он и сам идет на смерть. Все его экипажи идут на смерть. И для нас оказалось вполне достаточно того же убедительного ответа, только чуточку завуалированного:

— Скверное задание... Но в штабе настаивают... Упорно настаивают... Тут уж ничего не поделаешь...

— Слушаюсь, господин майор!

Я думаю, что те, кто погиб, просто служат порукой за остальных.

Я так состарился, что у меня уже все позади. Я смотрю сквозь большое отсвечивающее стекло кабины. Подо мною люди. Инфузории на стеклышке микроскопа. Разве можно интересоваться семейными драмами инфузорий?

Если бы не эта боль в сердце, которую я ощущаю так живо, я погрузился бы в дремоту, как состарившийся тиран. Всего лишь десять минут назад я сочинил историю с поклонниками. Тошнотворная фальшь. Разве я думал о нежных вздохах, когда заметил истребителей? Я думал о жалящих осах. Ну конечно об осах. Они были совсем крошечные, эти мерзавки.

И я мог без отвращения вообразить себе платье со шлейфом! Я вовсе и не думал о платье со шлейфом по той простой причине, что никогда не видел следа своего самолета. Из кабины, куда я засунут, как трубка в футляр, мне не видно, что делается сзади. Назад я смотрю глазами моего стрелка. Да и то, если ларингофоны в исправности! А мой стрелок ни разу не сказал мне: «Вон сколько дыхателей увязалось за нашим шлейфом...»

Остался только скептицизм и игра словами. Разумеется, я хотел бы верить, хотел бы сражаться, хотел бы победить. Но сколько ни притворяйся, что, поджигая собственные деревни, ты веришь, сражаешься и побеждаешь, воодушевиться этим нелегко.

Жить тоже нелегко. Человек — всего лишь узел отношений, а мои связи, оказывается, немногого стоят.

Что во мне потерпело аварию? В чем тайна переклички между моим существом и внешним миром? Почему то, что кажется мне сейчас отвлеченным и далеким, при других обстоятельствах могло бы глубоко меня взволновать? Почему какое-нибудь слово или жест порой образует бесконечные круги в чьей-то судьбе? Почему, если я Пастер, возня крошечных инфузорий приобретает для меня такой огромный смысл, что стеклышко микроскопа может мне показаться гораздо обширнее девственного леса, и, склонившись над ним, я смогу пережить приключение в его наивысшей форме?

Почему эта черная точка, это человеческое жилище, там, внизу...

И я вспоминаю.

Когда я был маленький... Я возвращаюсь к своему раннему детству. Детство, этот огромный край, откуда приходит каждый! Откуда я родом? Я родом из моего детства, словно из какой-то страны... Так вот, когда я был маленький, однажды мне случилось пережить нечто странное.

Мне было лет пять или шесть. Было восемь часов вечера. Восемь часов — время, когда дети должны уже спать. В особенности зимой, потому что зимой рано темнеет. Однако обо мне забыли.

В первом этаже нашего большого деревенского дома была передняя, казавшаяся мне огромной; туда выходила дверь теплой комнаты, где мы, дети, обедали. Я всегда побаивался этой передней, быть может, потому, что тусклый свет лампы, висевшей посредине и скорее похожей на сигнальный фонарь, едва рассеивал царивший там густой мрак, и потому, что в тишине потрескивали деревянные панели, а еще потому, что там было холодно. Из освещенных и теплых комнат сюда входили, как в пещеру.

Но в тот вечер, видя, что обо мне забыли, я послушался злого демона, дотянулся на цыпочках до дверной ручки, тихонько нажал ее, вышел в переднюю и пустился тайком

исследовать мир.

Однако мне показалось, что деревянные панели своим потрескиванием предупреждают меня о гнев Божием. В полумраке я смутно различал укоризненно смотревшие на меня панели. Не смея идти дальше, я кое-как взобрался на столик у зеркала, прижался спиной к стене и, свесив ноги, застыл там с бьющимся сердцем, как потерпевший кораблекрушение — на скале, в открытом море.

И тогда отворилась дверь гостиной и в переднюю вошли два мои дяди, всегда внушавшие мне священный ужас; закрыв за собой дверь, за которой было светло и шумно, они начали расхаживать по передней.

Я дрожал, боясь, что меня обнаружат. Один дядя, Гюбер, был для меня олицетворением строгости. Посланцем Божественного правосудия. Этот человек, который никогда и пальцем не тронул бы ребенка, повторял, грозно хмуря брови по случаю каждой моей провинности: «В следующий раз, как поеду в Америку, привезу оттуда машину для порки детей. В Америке все усовершенствовано. Вот почему дети там — само послушание. И родителям живется спокойно...»

Я не любил Америку.

И вот они расхаживали, не замечая меня, взад и вперед по холодной, необъятной передней. Я следил за ними глазами, прислушивался, затаив дыхание, голова у меня кружилась. «В нашу эпоху...» — говорили они. И удалялись, унося с собой тайну, доступную только взрослым, а я повторял про себя: «В нашу эпоху...» Потом они возвращались, как прилив, который снова катил ко мне свои загадочные сокровища. «Это безумие, — говорил один другому, — это просто безумие...» Я подхватывал эту фразу, словно какую-то диковинку. И медленно повторял, чтобы испытать силу воздействия этих слов на мое детское сознание: «Это безумие, это просто безумие...»

Итак, отлив уносил от меня дядей. Прилив снова прибывал их ко мне. Это удивительное явление, открывавшее передо мною новые, еще неясные горизонты, повторялось с той же правильностью, с какой, по законам всемирного тяготения, движутся небесные светила. А я был навеки прикован к своему столику — тайный свидетель торжественного совещания, на котором оба мои дяди, знавшие решительно все, вместе творили мир. Дом мог простоять еще тысячу лет, и, тысячу лет расхаживая по передней с медлительностью маятника, оба дяди все так же создавали бы в нем ощущение вечности.

Эта точка, в которую я всматриваюсь, на расстоянии десяти километров подо мной, конечно, человеческое жилище. Но мне оно ничего не говорит. А ведь, может быть, это большой деревенский дом, где расхаживают два дяди, медленно создавая в детском сознании нечто столь же удивительное, как беспредельность морей.

С высоты десять тысяч метров я просматриваю территорию целой провинции, но мне так тесно, что я почти задыхаюсь. Здесь у меня меньше пространства, чем было его в том черном зернышке.

Я потерял ощущение беспредельности. Я слеп к беспредельности. Но в то же время я как бы жажду ее. И мне кажется, что тут я касаюсь какой-то общей меры всех человеческих устремлений.

Когда какая-нибудь случайность пробуждает в человеке любовь, то все в нем подчиняется этой любви и любовь даст ему ощущение беспредельности. Когда я жил в Сахаре, ночью у наших костров, бывало, появлялись арабы, предупреждая нас о грозящей опасности. И тогда пустыня оживала и обретала смысл. Эти вестники создавали ее

беспредельность. Тем же одаряет и музыка, когда она прекрасна. И привычный запах старого шкафа, когда он пробуждает и оживляет наши воспоминания. Патетика — это и есть ощущение беспредельности.

Но я понимаю также, что все, относящееся к человеку, нельзя ни сосчитать, ни измерить. Подлинная беспредельность не воспринимается глазом, она доступна только духу. Ее можно сравнить с языком, потому что язык связывает между собой все.

Мне кажется, теперь я лучше понимаю, что такое духовная культура. Духовная культура — это наследие верований, обычаев и знаний, накопленных веками, — иногда их трудно оправдать логически, но они содержат свое оправдание в самих себе, как дороги, если они куда-то ведут, потому что это наследие открывает человеку его внутреннюю беспредельность.

Дурная литература проповедовала нам бегство. Разумеется, пускаясь в странствия, мы бежим в поисках беспредельности. Но беспредельность нельзя найти. Она создается в нас самих. А бегство никого никуда не приводило.

Если человеку, чтобы почувствовать себя человеком, нужно участвовать в состязании в беге, петь в хоре или воевать, то это уже узы, которыми он стремится связать себя с другими людьми и с миром. Но до чего же непрочны такие узы! Подлинная духовная культура целиком заполняет человека, даже если он неподвижен.

В каком-нибудь тихом городке, сквозь серую дымку дождливого дня я вижу калеку-затворницу, задумчиво сидящую у своего окошка. Что она есть? Что из нее сделали? О духовной культуре этого городка я буду судить по насыщенности ее внутренней жизни. Чего мы стоим, если вдруг становимся неподвижны?

Внутренняя жизнь молящегося доминиканца насыщена до предела. Человеком в полной мере он становится именно тогда, когда, простершись ниц, неподвижно застывает в молитве. Внутренняя жизнь Пастера, когда он, затаив дыхание, склоняется над своим микроскопом, насыщена до предела. В полной мере человеком Пастер становится именно тогда, когда наблюдает. Тут он идет вперед. Тут он спешит. Тут он шествует гигантскими шагами, хотя сам он неподвижен, и тут ему открывается беспредельность. Сезанн, безмолвно застывший перед своим этюдом, тоже живет бесценной внутренней жизнью. Человек в полной мере он именно тогда, когда молчит, всматривается и судит. Тогда его полотно становится для него бескрайним, как море.

Беспредельность, дарованная мне домом моего детства или моей комнатой в Орконтте, беспредельность, постигнутая Пастером, благодаря тому что он увидел под микроскопом, беспредельность, открываемая поэмой, — все это хрупкие и неоценимые блага, которыми награждает только духовная культура, ибо беспредельность существует для духа, а не для глаз, и беспредельность непостижима без языка.

Но как вернуть смысл моему языку в час всеобщего хаоса? В час, когда деревья в парке это одновременно и ковчег для многих поколений, и просто помеха для артиллериста. В час, когда пресс бомбардировщиков всей своей тяжестью придавил города и заставил целый народ черным соком разлиться по дорогам. В час, когда Франция являет собой мерзкое зрелище развороченного муравейника. В час, когда мы боремся не с осязаемым противником, а с замерзшими педалями, заклинившимися рукоятками, сорванной нарезкой...

— Можно снижаться!

Я могу снижаться. Я снижусь. Я полечу к Аррасу на малой высоте. За мной

тысячелетняя духовная культура, она должна мне помочь. Но она мне не помогает. Сейчас, разумеется, не время пожинать ее плоды.

На скорости восемьсот километров в час и при трех тысячах пятистах тридцати оборотах в минуту я теряю высоту.

Сделав разворот, я расстался с преувеличенно красным полярным солнцем. Впереди, в пяти-шести километрах подо мной, я вижу прямолинейный фронт облаков. Их тень накрыла большой кусок Франции. Под ними — Аррас. Там, наверное, все погружено во тьму. Это чрево огромного котла, в котором медленно кипит война. Забитые дороги, пожары, брошенное военное имущество, разоренные деревни, хаос... невообразимый хаос. Люди бессмысленно копошатся под тучей, как мокрицы под камнем.

Этот спуск подобен разорению. Нам тоже придется шлепать по грязи. Мы возвращаемся к какому-то разгромленному царству варваров. Там, внизу, все разлагается! Мы похожи на богатых путешественников, которые, проведя много лет в стране кораллов и пальм, разорившись, возвращаются домой, где их ждет жалкое прозябание в скаредной семье, плохо вымытая посуда, горечь мелочных дрызг, судебный исполнитель, бесконечные заботы о деньгах, напрасные надежды, позорные выселения, наглость домовладельца, нищета и зловонная смерть в больнице. Здесь смерть, по крайней мере, чиста! Ледяная и огненная смерть. Солнце, небо, лед и огонь. А там, внизу, тебя медленно засасывает глина!



— Курс на юг, капитан. Излишек высоты ликвидируем во французской зоне!

Глядя на эти черные дороги, которые теперь уже хорошо видны, я понимаю, что такое мир. Мир — это определенный порядок. Крестьяне по вечерам возвращаются в деревню. Зерно засыпают в амбары. И аккуратно сложенное белье убирают в шкафы. В дни мира знаешь, где лежит каждая вещь, знаешь, где найти каждого друга. Знаешь, где ты будешь сегодня спать. Да! Мир гибнет, если рвутся нити основы, если ты больше не находишь себе места на свете, если не знаешь, где тот, кого любишь, если муж, ушедший в море, не вернулся домой.

Мир — это когда все вещи пребывают на своих местах и обретают истинный смысл, отчетливо проступающий сквозь их внешнюю оболочку. Когда они составляют часть чего-то большего, нежели они сами, как различные соли земли, соединившиеся в дереве.

Но разразилась война.

И вот я лечу над дорогами, а по ним бесконечной рекой течет черная патока. Говорят, будто население эвакуируют. Но теперь это уже неправда. Население эвакуируется самотеком. В этом великом переселении есть какое-то заразное безумие. В самом деле, куда устремляются все эти беженцы? Они идут на юг, как будто там их ждут кров и пища, как будто там их ожидает гостеприимство. Но ведь там, на юге, есть только битком набитые города, где люди спят в сараях и где запасы продовольствия на исходе. Где даже самые щедрые мало-помалу ожесточаются из-за бессмысленности этого нашествия, которое мало-помалу, словно поток грязи, поглощает их самих. Не может же одна провинция приютить и прокормить всю Францию!

Куда они идут? Они и сами не знают! Они шагают к каким-то призрачным стоянкам, потому что едва лишь их караван доберется до оазиса, как оазиса уже нет и в помине. Каждый оазис исчезает, когда приходит его черед, и в свой черед он вливается в караван. И если караван доберется до настоящей деревни, которая делает вид, будто она еще живет, он в первый же вечер высасывает из нее все жизненные соки. Он объедает ее, как черви объедают кость.

Враг движется быстрее беженцев. Кое-где танки присоединяются к их потоку, и тогда он густеет и ползет назад. Иногда в этом месиве увязают целые немецкие дивизии, и порою можно наблюдать парадоксальное явление: те, что в других местах убивали, здесь подают напиток.

За время отступления мы стояли, быть может, в десяти деревнях, переходя из одной в другую. Мы погружались в этот тягучий ил, медленно тянувшийся через наши деревни.

— Куда вы едете?

— Сами не знаем.

Они вообще ничего не знали. Никто ничего не знал. Они эвакуировались. Нигде уже не было ни одного свободного угла. Все дороги были забиты. И все-таки они эвакуировались. На севере кто-то ударом ноги разворошил муравейник, и муравьи разбрелись кто куда. Как подобает трудолюбивым муравьям. Без паники. Без надежды. Без отчаяния. Словно выполняя долг.

— Кто вам велел эвакуироваться?

Приказ всегда исходил от мэра, или от учителя, или от помощника мэра. Ночью, часов

около трех, он внезапно будил всю деревню:

— Эвакуируемся.

Они этого ждали. Вот уже две недели, как мимо них тянулись беженцы, и они отказались верить в незыблемость своего дома. А между тем человек уже давно перестал быть кочевником. Он строил деревни, которые стояли веками. Он полировал мебель, и она служила его правнукам. Отчий дом принимал человека при рождении и, как надежный корабль, вез его до самой смерти, а потом переправлял с одного берега на другой и его сына. Но вот оседлой жизни пришел конец. И люди уходили, даже не понимая зачем!

Немало горя пришлось нам хлебнуть на дорогах войны.

Иногда бывают такие задания, когда за одно утро надо оглядеть и Эльзас, и Бельгию, и Голландию, и север Франции, и море. Но чаще всего мы решаем земные задачи, и наш горизонт обычно ограничивается дорожной пробкой на каком-нибудь перекрестке. Дня три тому назад, например, мы с Дютертром были свидетелями того, как распалась деревня, в которой мы жили.

Мне, наверно, никогда не избавиться от этого неотвязного воспоминания. Около шести часов мы выходим из дома и видим неопиcуемый хаос. Все гаражи, все риги, все сараи изрыгнули на узкие улочки самые разнообразные средства передвижения: новые автомобили и допотопные телеги, полвека дремавшие в пыли, повозки для сена и грузовики, автобусы и двуколки. Если бы хорошенько поискать, на этой ярмарке наверняка нашлись бы и дилижансы! На свет извлечены любые ящики на колесах. Туда сваливают семейные сокровища. В продырявленных простынях, из которых торчат острые выступы, их как попало волокут к повозкам. И все эти сокровища превращаются в хлам.

Прежде они определяли лицо дома. Они были предметом домашнего культа. У каждой вещи было свое место, каждая стала необходимой по привычке и, овеянная воспоминаниями, была дорога потому, что участвовала в созидании домашнего очага. Но люди, полагая, будто эти вещи ценны сами по себе, оторвали их от камина, от стола, от стены, свалили в кучу, и теперь обнаружилось, что это всего лишь рухлядь, которой место на барахолке. От благоговейно хранимых реликвий, если их свалить в кучу, просто воротит!

Распад начинается прямо на глазах.

— Да вы что, все с ума посходили? Что здесь происходит?

Хозяйка кафе, куда мы заглядываем, пожимает плечами:

— Эвакуируемся.

— Господи! Да почему?

— Неизвестно. Мэр приказал.

Дел у нее по горло. Она исчезает под лестницей. Мы с Дютертром смотрим на улицу. На грузовиках, легковых автомобилях, телегах, в шарабанах громоздятся вперемежку дети, матрацы и кухонная утварь.

Особенно жалкими выглядят старые автомобили. Крепкая лошадь между оглоблями телеги производит впечатление чего-то надежного. Лошадь не требует запасных частей. Чтобы починить телегу, довольно и трех гвоздей. Но вся эта рухлядь механической эры! Эти поршни, клапаны, магнето и шестеренки, — долго ли они будут действовать?

— ...Капитан... не поможете ли?

— Охотно. Чем могу служить?

— Выведите машину из сарая...

Я смотрю на нее с изумлением.

— Вы... вы не умеете водить машину?

— Ничего, на дороге справлюсь... там полегче будет...

С ней еще невестка и семеро ребятишек.

На дороге! Там она будет ползти по двадцать километров в день, через каждые двести метров останавливая машину! Через каждые двести метров в безнадежной неразберихе

дорожных заторов ей придется тормозить, выключать мотор, выжимать сцепление, включать его, то и дело менять скорость. Она переломает все! А бензин, которого у нее не хватит! А масло! И вода, про которую она забудет!

— Смотрите, вода! Радиатор у вас течет, как худое ведро!

— Что же делать! Машина не новая...

— В пути-то пробудете не меньше недели... Справитесь ли?

— Сама не знаю...

Не проехав и десяти километров, она уже раза три врежется в другие машины, заклинит сцепление, проколет баллоны. Тогда она, ее невестка и семеро ребятишек, столкнувшись с непосильными трудностями, вовсе откажутся что-либо предпринимать, сядут у обочины дороги в ожидании пастуха. Но пастухи...

Пастухи... Просто удивительно, до чего же их не хватает! Мы с Дютертром наблюдали, как ведут себя овцы без пастуха. Они уходят под оглушительный грохот механизмов. Три тысячи поршней. Шесть тысяч клапанов. Все это скрипит, скрежещет, стучит. В некоторых радиаторах кипит вода. Вот так, напрягаясь изо всех сил, трогается в путь этот обреченный караван. Караван без запасных частей, без шин, без горючего, без механиков. Какое безумие!

— А нельзя вам остаться дома?

— О, мы рады бы остаться!

— Тогда зачем же уезжать?

— Нам велели...

— Кто вам велел?

— Мэр...

Опять этот мэр.

— Еще бы! Все мы рады бы остаться!

И это верно. Здесь не чувствуется никакой паники, здесь царит атмосфера слепой покорности. Пользуясь этим, мы с Дютертром пытаемся образумить некоторых:

— Выгрузили бы вы лучше все это. Тогда хоть воду будете пить из своих колодцев...

— Ну ясно, так было бы лучше!..

— Но вас же никто не гонит?!

Наши слова возымели действие. Вокруг нас собралась кучка людей. Нас слушают. Одобрительно кивают головой.

— ...Капитан дело говорит!

— У меня находятся приверженцы. Один дорожный рабочий, которого я обратил в свою веру, проповедует еще горячее меня:

— Я же говорил! Вот выедем на шоссе, будем жрать щебенку!

Они спорят. Потом приходят к согласию. Они останутся. Несколько человек идут убеждать остальных. Но вот они возвращаются в унынии.

— Ничего не выходит. Придется и нам уезжать.

— Почему?

— Булочник уехал. Кто же будет печь хлеб?

Деревня уже разваливается. Где-то образовалась трещина. Через эту трещину вытечет все. Тут уж ничего не поделаешь.

Дютертр рассуждает по-своему:

— Вся трагедия в том, что людям внушили, будто война — явление ненормальное. В прежние времена они оставались дома. Война и жизнь переплетались...

Снова появляется хозяйка кафе. Она тащит мешок.

— Мы вылетаем через сорок пять минут... Не дадите ли нам по чашке кофе?

— Бедные вы мои детки!

Она вытирает глаза. Нет, она плачет не из-за нас. И не из-за себя. Она плачет от изнеможения. Она чувствует, что ее уже поглотил хаос этого расплзающегося каравана, который с каждым километром будет разваливаться все больше и больше.

А потом, где-нибудь в открытом поле, вражеские истребители, снижаясь, то и дело будут выплевывать на это жалкое стадо пулеметные очереди. Удивительнее всего то, что обычно они не особенно-то и усердствуют. Подожгут несколько машин, и довольно. Убьют несколько человек, и хватит. Нас обслуживают по высшему разряду — нас как бы предупреждают. словно собака, которая кусает за ноги овец, чтобы подогнать стадо. А здесь просто хотят создать панику. Но какой смысл в этих коротких случайных налетах, если они почти ни к чему не приводят? Противник не слишком старается развалить караван. Впрочем, караван разваливается и без его стараний. Машина разваливается сама по себе. Машина создана для мирных, спокойных людей, которым некуда торопиться. Когда машину некому ремонтировать, налаживать, красить, она старится с необыкновенной быстротой. Сегодня вечером все эти автомобили будут выглядеть так, словно им тысяча лет.

Мне кажется, что я присутствую при агонии машины.

Вот этот с королевским величием нахлестывает свою лошадь. Он сияет, сидя на козлах, как на троне. Вдобавок он, вероятно, еще и пропустил рюмочку.

— Эй, вы там! Чему радуетесь?

— Да ведь это же светопреставление!

Мне становится как-то не по себе, когда я думаю, что все эти труженики, все эти люди с их скромными обязанностями, с их самыми разнообразными достоинствами, уже сегодня вечером превратятся в прожорливых насекомых, в саранчу.

Они рассеются по полям и начнут пожирать урожай.

— Кто вас будет кормить?

— Почему мы знаем...

Как снабдить продовольствием миллионы беженцев, затерянных на дорогах, по которым двигаться можно лишь со скоростью от пяти до двадцати километров в день? Ведь если бы продовольствие даже и существовало, его невозможно было бы подвезти.

Это смещение людей и железного лома напомнило мне Ливийскую пустыню. Мы с Прево жили на безлюдном плато, покрытом черными, сверкавшими на солнце камнями, на плато, словно закованном в железную броню.

И я с отчаянием взираю на это зрелище: долго ли может прожить стая саранчи, опустившаяся на асфальт?

— А чтобы напиться, вы будете ждать дождя?

— Почему мы знаем...

В течение десяти дней через их деревню непрерывно шли беженцы с севера. Десять дней они были свидетелями этого великого переселения. Но вот настал их черед. И они занимают свое место в процессии. О, конечно, без всякой надежды.

— А мне бы все-таки хотелось умереть у себя дома.

— Каждому хотелось бы умереть у себя дома.

И это правда. Вся деревня рушится, как карточный домик, а ведь никому не хотелось уезжать.

Если бы у Франции даже и были резервы, подбросить эти резервы оказалось бы просто невысказано, потому что все дороги забиты. На худой конец, несмотря на поломанные и врезавшиеся друг в друга машины, несмотря на непроходимые дорожные пробки, кое-как еще можно было бы двигаться по течению, вместе со всем потоком, но что делать, если нужно двигаться против него?

— Да ведь резервов-то нет, — говорит мне Дютертр, — а стало быть, нечего и волноваться.

Ходят слухи, будто со вчерашнего дня правительство запретило эвакуацию деревень. Но приказы передаются бог знает как, потому что движение по дорогам невозможно. Телефонные линии перегружены, перерезаны или ненадежны. И кроме того, дело вовсе не в приказах. Дело в том, что нужно изобрести новую мораль. Уже тысячу лет людям внушают, что женщины и дети должны быть избавлены от войны. Война — это дело мужчин. Мэры прекрасно знают этот закон, знают его и помощники мэров, и школьные учителя. Но вот они получают приказ запретить эвакуацию, то есть заставить женщин и детей, остаться под бомбежкой. Им нужен целый месяц, чтобы приспособить свое сознание к новым условиям. Нельзя разом перевернуть всю систему мышления. А враг наступает. И тогда мэры, их помощники и школьные учителя гонят своих подопечных на большую дорогу. Что остается делать? Где правда? И бредут эти овцы без пастуха.

— Нет ли здесь врача?

— Вы что, нездешние?

— Нет, мы с севера.

— Зачем вам врач?

— Жена вот-вот родит в телеге...

Среди кухонной утвари, среди заполнившего все железного лома, как на терниях.

— Да разве вы не могли это предвидеть?

— Мы уже четыре дня в дороге.

Дорога — это неумолимый поток. Где остановиться? Поток сметает на своем пути деревни, которые, лопаясь поочередно, изливаются в него и наполняют общую сточную канаву.

— Нет, врача здесь нет. Врач авиагруппы за двадцать километров отсюда.

— Ну что ж, ладно...

Человек вытирает пот с лица. Все рушится. Жена его рождает в телеге, среди кухонной утвари. И во всем этом нет ни капли жестокости. Это, прежде всего, до дикости бесчеловечно. Никто не жалуется, жалобы не имеют никакого смысла. Жена его вот-вот умрет, а он не жалуется. Ничего не поделаешь. Это какой-то тяжелый сон.

— Если бы можно было хоть где-нибудь остановиться!..

Найти где-нибудь настоящую деревню, настоящую гостиницу, настоящую больницу... но больницы тоже эвакуируют, бог знает зачем! Таково уж правило игры. Придумывать новые правила нет времени. Найти где-нибудь настоящую смерть! Но настоящей смерти больше нет. Есть человеческие тела, которые разваливаются, как автомашины.

И я ощущаю во всем необходимость, потерявшую всякий смысл, необходимость, которая уже перестала быть необходимостью. Люди проходят пять километров в день, спасаясь от танков, успевающих за это время продвинуться без дорог более чем на сто километров, и от самолетов, летящих со скоростью шестьсот километров в час. Так вытекает сироп из опрокинутой бутылки. Жена этого человека рождает, а времени у него сколько угодно. Это

необходимо сию минуту. И вместе с тем в этом уже нет необходимости. Это повисло в неустойчивом равновесии между минутой и вечностью.

Все замедлилось, как рефлекс умиравшего. Огромное стадо топчется, изнемогая, перед воротами бойни. Сколько же их, обреченных погибнуть на щебенке, — пять, десять миллионов? Целый народ устало и понуро топчется на пороге вечности.

И право, я не представляю себе, каким образом им удастся выжить. Человек ведь не может питаться травой. Они и сами смутно понимают это, но не приходят в ужас. Выбитые из колеи, оторванные от своего труда, своих обязанностей, они перестали что-либо значить. Самая их личность и то стерлась. В них почти ничего не осталось от них самих. Они почти не существуют. Потом, задним числом, они придумают себе более возвышенные страдания, но сейчас они страдают главным образом от боли в пояснице — чересчур тяжела их поклажа, — оттого что узлы прорвались и из простыней вывалилось все содержимое, оттого что слишком часто приходится толкать машину, чтобы сдвинуть ее с места.

О поражении — ни слова. Оно и так очевидно. У вас нет потребности говорить о том, что составляет вашу сущность. Эти люди и есть само поражение.

Передо мной внезапно возникает жуткий образ: Франция, из которой вываливаются внутренности. Надо немедленно зашивать. Нельзя терять ни секунды: эти люди обречены...

Вот уже началось. Они задыхаются, как рыба без воды.

— Нет ли здесь молока?..

Со смеху умрешь от такого вопроса!

— Мой малыш со вчерашнего дня ничего не ел...

Речь идет о шестимесячном младенце, который пока еще производит много шума. Но этот шум продлится недолго: рыбы без воды... Здесь нет молока. Здесь только железный лом. Скопище ненужного железного лома, который, рассыпаясь с каждым километром, теряя гайки, болты, куски жести, увлекает целый народ в это чудовищно-бесполезное переселение и тащит его за собой в небытие.

Идут разговоры о том, что немного южнее дорогу обстреливают самолеты. Поговаривают даже о бомбах. Мы и в самом деле слышим глухие разрывы. Значит, говорят не зря.

Но толпу это не пугает. Кажется, она даже немного оживилась. Эта очевидная опасность представляется ей менее страшной, чем опасность завязнуть в железном ломе.

Какую замечательную схему построят впоследствии историки! Каких только осей они не придумают, лишь бы придать смысл этой каше! Они уцепятся за слова какого-нибудь министра, за решение какого-нибудь генерала, за совещание какой-нибудь комиссии и из этой вереницы призраков создадут исторические беседы, на кого-то возложат ответственность, кого-то объявят весьма дальновидным. Они придумают, что один соглашался, другой возражал, один произносил монологи в духе Корнеля, другой совершал предательства. Я-то прекрасно знаю, что такое эвакуированное министерство. Однажды мне случилось посетить одно из них. Я сразу понял, что правительство, покинувшее свою резиденцию, перестает быть правительством. Это как с человеческим телом. Если начать перетаскивать желудок сюда, печень туда, кишки еще куда-нибудь, то все это уже не будет составлять организма. Я пробыл двадцать минут в министерстве авиации. Да, министр может воздействовать на своего секретаря. Воздействовать чудесным образом. Потому что министра с секретарем еще связывает провод звонка. Неповрежденный провод звонка. Министр нажимает кнопку, и секретарь является. Это уже большая удача.

— Машину, — приказывает министр.

На этом его власть кончается. Секретарь поворачивается кругом. Но секретарь не знает, существует ли на свете автомобиль министра. Электрический провод не связывает секретаря с шофером машины. Шофер затерян где-то во вселенной. Что могут они, правители, знать о войне? Связь до того разладилась, что даже нам и то понадобилась бы теперь целая неделя, чтобы выслать бомбардировщиков против обнаруженной нами танковой дивизии. И какие сведения могут получить правители о стране, из которой вываливаются внутренности? Донесения распространяются со скоростью двадцать километров в день. Телефоны перегружены или работают плохо и не могут передать во всей ее полноте Сущность, которая в это самое время разваливается на части. Правительство висит в пустоте, в полярной пустоте. Время от времени до него доносятся отчаянные вопли о помощи, но вопли абстрактные, сведенные всего к трем строчкам. Откуда правителям знать, не умерли ли уже с голоду десять миллионов французов? А этот вопль десяти миллионов людей содержится в одной фразе. Достаточно одной фразы, чтобы сказать:

— Приходите в четыре часа к Х.

Или:

— Говорят, погибло десять миллионов человек.

Или:

— Блуа горит.

Или:

— Ваш шофер нашелся.

Все это одинаковым тоном. Подряд. Десять миллионов человек. Машина. Восточная армия. Западная цивилизация. Шофер нашелся. Англия. Хлеб. Который час?

Я вам даю семь букв. Эти семь букв взяты из Библии. Попробуйте-ка воссоздать с их помощью Библию!

Историки забудут реальные события. Они выдумают каких-то здравомыслящих людей, связанных таинственными нитями с миром, в котором все для них было ясно, способных на глубокие обобщения и на важные выводы по всем правилам картезианской логики. Они сумеют отличить добро от зла. Героев от предателей. А я задам простой вопрос:

— Чтобы предавать, надо отвечать за что-то, чем-то управлять, на что-то воздействовать, что-то знать. В наши дни для этого надо быть гением. Почему же, спрашивается, предателей не награждают орденами?

Всюду понемногу уже проглядывает облик мира. Но не того четко очерченного мира, который как новый исторический этап обычно следует за войной, ясно завершаемой договором. Это какой-то непонятный период, это конец всего. Конец, который никак не может прийти к концу. Болото, в котором мало-помалу увязает всякий порыв. Приближения развязки — хорошей или плохой

— не чувствуется. Напротив. Все мало-помалу погружается в гниль временного, похожего на вечность. Развязки не будет, потому что не за что ухватиться, чтобы вытащить страну из этого состояния, как вытаскивают утопленницу, намотав на руку ее волосы. Все распалось. И даже при самом энергичном усилии в руке остается всего лишь прядь волос. Наступающий мир не есть плод принятого человеком решения. Он распространяется, как проказа.

Там, подо мною, на дорогах, по которым расползается караван беженцев и немецкие танкисты то убивают людей, то подают им напиток, — там все напоминает трясины, где



земля неотличима от воды. Мир, который уже примешивается к войне, разлагает войну.

Мой друг Леон Верт однажды подслушал на дороге поразительный разговор, о котором он собирается рассказать в большой книге. Слева от дороги — немцы, справа — французы. Между ними — медленный водоворот эвакуации. Сотни женщин и детей кое-как выбираются из горящих машин. Артиллерийский лейтенант, зажатый в этой пробке, пытается привести в боевое положение семидесятимиллиметровую пушку, по которой постреливает противник. Так как противник бьет мимо цели и косит людей на дороге, а лейтенант, упорствуя в выполнении своего непонятного долга, весь в поту, пытается спасти позицию, хотя она не продержится и двадцати минут (их тут всего двенадцать артиллеристов!), то матери подбегают к нему и кричат:

— Убирайтесь вон! Убирайтесь! Вы подлецы!

Лейтенант со своими солдатами уходит. Они повсюду сталкиваются с проблемами, которые ставит перед ними мир. Убивать малышей на дорогах, конечно, недопустимо. А ведь каждому солдату, который стреляет, приходится стрелять в спину ребенку. Каждый продвигающийся или пытающийся продвинуться грузовик рискует погубить множество людей. Потому что, двигаясь против течения, он создает непроходимую пробку.

— Вы с ума сошли! Пропустите нас! Дети умирают!

— Что поделаешь, война...

— Какая война? Где война? За три дня в этом направлении вы продвинетесь на шесть километров!

Несколько солдат, затерянных в своем грузовике, едут на сборный пункт, где их, наверняка, уже давно никто не ждет. Но у них одно на уме — они хотят выполнить свой простейший долг.

— Мы воюем...

— ...лучше бы нас выбрали! Есть у вас совесть?

Громко кричит ребенок.

— А этот...

Этот уже не кричит. Нет молока, нет и крика.

— Что поделаешь, война...

Они повторяют эти слова с тупым и безнадежным упорством.

— Да вам до нее никогда не добраться, до вашей войны! Вы подохнете здесь вместе с нами!

— Мы воюем...

Они уже и сами не уверены в том, что говорят. Они уже и сами не уверены в том, что воюют. Они никогда не видели противника. Они катят на грузовике к какой-то зыбкой цели, тающей быстрее, чем мираж. И встречают только этот мир гниющей свалки.

Так как в этом хаосе застревает все, они тоже слезли с грузовика. Их окружают:

— Есть у вас вода?..

И они раздают воду.

— А хлеб?..

И они раздают хлеб.

— Неужели вы оставите ее подышать?

В сломанной машине, которую оттащили на обочину, хрипит женщина.

Ее высвобождают. Берут на грузовик.

— А ребенка?

Ребенка тоже берут на грузовик.

— А эту, она же рождает?

Берут и эту.

А потом еще одну, потому что она плачет.

Провозившись целый час, грузовик с трудом вывели из затора. Его повернули на юг. И он, как случайно закатившийся сюда валун, последует за уносящим его потоком беженцев. Солдаты приобщились к миру. Потому что они никак не могли найти войну.

Потому что мускулатура войны невидима. Потому что, стреляя, вы попадаете в ребенка. Потому что на сборном пункте воинских частей вы наталкиваетесь на рожениц. Потому что пытаться передать сведения или получить приказ так же бессмысленно, как вступать в спор с Сириусом. Армии больше нет. Есть только солдаты.

Они приобщились к миру. Силой обстоятельств они превратились в механиков, пастухов, санитаров, врачей. Они чинят машины этим беспомощным людям, которые сами не умеют вылечить свои развалины на колесах. И, стараясь изо всех сил, эти солдаты не знают, кто они — герои или преступники, подлежащие суду военного трибунала. Они не удивятся, если их наградят орденами. И не удивятся, если их поставят к стенке и всадят им по двенадцать пуль в голову. Не удивятся, если их демобилизуют. Их ничто не удивит. Они давно уже перешли пределы удивления.

Все превратилось в сплошное варево, где ни один приказ, ни одно движение, ни одно известие, ни одна волна — ничто не сможет распространиться дальше трех километров. И как деревни одна за другой рушатся в общую сточную канаву, так и военные грузовики, поглощаемые мирными заботами, один за другим приобщаются к миру. Эти горсточки людей, которые не колеблясь пошли бы на смерть, — но перед ними не встает такая необходимость, — хватаются за первое попавшееся дело. И вот они чинят оглоблю старой повозки, куда три монахини насажали дюжину ребятишек и, спасая малышей от смерти, отправились с ними бог весть в какое паломничество, бог весть к какому сказочному убежищу.

Подобно Алиасу, который прятал в карман револьвер, я не стану осуждать солдат, отказывающихся воевать. Что могло бы воодушевить их? Откуда взяться волне, которая бы их всколыхнула? Где общий смысл, способный их объединить? Они ничего не знают об остальном мире, кроме тех, всегда невероятных, слухов, которые зародились где-то на дороге, в трех-четыре километра от них, в виде нелепых догадок и, медленно просочившись сквозь три километра варева, приняли характер непреложной истины. Соединенные Штаты вступили в войну. Римский папа покончил жизнь самоубийством. Русские самолеты подожгли Берлин. Три дня назад подписано перемирие. Гитлер высадился в Англии.

Нет пастуха для женщин и детей, но нет его и для солдат. Генерал распоряжается адъютантом, министр — секретарем. И быть может, своим красноречием он способен воодушевить его. Алиас распоряжается летными экипажами. И он может вызвать у них готовность пойти на смерть. Сержант с военного грузовика распоряжается десятком подчиненных ему солдат. Но он не в силах связаться ни с кем другим. Даже если предположить, что какой-нибудь гениальный полководец, чудом умудрившийся охватить взглядом все, придумает план нашего спасения, то для осуществления своего плана этот полководец сможет располагать только звонковым проводом длиной двадцать метров. А в качестве маневренной силы, необходимой для победы, у него будет секретарь, если на

другом конце провода еще будет существовать секретарь.

И когда по дорогам бредут кто куда эти солдаты из разбитых частей, эти воины, оставшиеся на войне без работы, в них не заметно того отчаяния, какого можно было бы ждать от побежденных патриотов. Они смутно желают мира, это верно. Но мир для них — всего лишь конец этого невероятного хаоса и возможность вновь обрести себя, свою личность, пусть самую скромную. Так бывший сапожник во сне забивает гвозди. И, забивая гвозди, он кует вселенную.

И если они идут куда глаза глядят, то это от всеобщей неразберихи, которая разобщает их, а вовсе не от страха перед смертью. Их ничто не страшит — они опустошены.

Существует непреложный закон: побежденных нельзя сразу превратить в победителей. Когда об армии говорят, что сперва она отступала, а теперь дает отпор, то это всего лишь словесное упрощение, потому что отступавшие войска и те, что сейчас ведут бой, не одни и те же. Отступавшая армия уже не была армией. И дело не в том, что эти солдаты были недостойны победить, а в том, что отступление разрушает все связи — и материальные и духовные, — объединявшие между собой людей. Массу разобщенных солдат, которые, отступая, просочились в тыл, заменяют свежими резервами, действующими как единый организм. Они-то и задерживают противника. А беглецов собирают в кучу и из этого бесформенного теста снова лепят армию. Если нет резервов, которые можно бросить в бой, первое же отступление становится непоправимым.

Объединяет одна лишь победа. Поражение не только разобщает людей, но и приводит человека в разлад с самим собою. Если беглецы не оплакивают гибнущую Францию, то именно потому, что они побеждены. Потому, что Франция побеждена не вокруг них, а в них самих. Оплакивать Францию значило бы уже быть победителем.

Почти всем — и тем, кто еще сопротивляется, и тем, кто перестал сопротивляться, — лицо побежденной Франции явится потом, в часы безмолвия. Сегодня каждый целиком поглощен какой-нибудь простейшей деталью, которая испортилась или отказалась служить, — попавшим в аварию грузовиком, дорожной пробкой, заклинившейся рукояткой сектора газа, бессмысленным заданием. То, что задание становится бессмысленным, — признак катастрофы. Потому что бессмысленным становится любое усилие, направленное на то, чтобы предотвратить катастрофу. Потому что все в разладе с самим собой. Ты оплакиваешь не всеобщую катастрофу, а единственный предмет, который ты способен осязать, за который ты отвечаешь и который пришел в негодность. Гибнущая Франция в море обломков, и каждый из них уже ничего не значит: ни это задание, ни этот грузовик, ни эта дорога, ни эта подлая рукоятка сектора газа.

**Больше книг Вы можете скачать на сайте - [Knigochei.net](http://Knigochei.net)**

Конечно, разгром — печальное зрелище. Во время разгрома низкие души обнаруживают свою низость. Грабители оказываются грабителями. Общественные устои рушатся. Армия, дошедшая до предела отвращения и усталости, разлагается в этой бессмыслице. Все это — неизбежные проявления разгрома, как бубоны — проявление чумы. Но если вашу любимую переедет грузовик, неужели вы станете корить ее за уродство?

Поражение накладывает на побежденных печать вины, и в этом его несправедливость. Может ли поражение обнаружить принесенные жертвы, беззаветную верность долгу, добровольные лишения, неусыпные заботы, если бог, решающий исход боев, со всем этим не пожелал считаться? Может ли оно обнаружить любовь? Поражение обнаруживает беспомощность военачальников, разброд в войсках, инертность толпы. Нередко люди и в самом деле уклонялись от исполнения долга, но что означало само это уклонение? Достаточно было распространиться известию о контрударе русских или о вступлении в войну американцев, чтобы люди преобразились. Чтобы их объединила общая надежда. Такой слух каждый раз очищал все, как порыв морского ветра. Не надо судить Францию по результатам постигшей ее катастрофы.

Францию надо судить по ее готовности идти на жертву. Франция приняла бой вопреки

правде логиков. Логики нам твердили: «Немцев восемьдесят миллионов. За один год мы не можем создать сорок миллионов французов, которых нам не хватает. Мы не можем превратить наши пшеничные поля в угольные шахты. Мы не можем надеяться на помощь Соединенных Штатов. Так почему же, если немцы посягают на Данциг, — а спасти его не в наших силах! — мы, во избежание позора, должны покончить жизнь самоубийством? Разве позорно, что наша земля дает больше зерна, чем машин, и что нас вдвое меньше, чем их? Почему позор должен лечь на нас, а не на весь мир?» Логики были правы. Война для нас означала разгром. Но разве должна была Франция ради того, чтобы избавиться себя от поражения, не принимать боя? Не думаю. И Франция интуитивно пришла к тому же решению: никакие увещевания не заставили ее уклониться от боя. Дух в нашей стране одержал верх над Разумом.

Жизнь всегда с треском ломает все формулы. И разгром, как он ни уродлив, может оказаться единственным путем к возрождению. Я знаю: чтобы выросло дерево, должно погибнуть зерно. Первая попытка к сопротивлению, если она предпринимается слишком поздно, всегда обречена на неудачу. Зато она пробуждает силы сопротивления. И из нее, может быть, вырастет дерево. Как из зерна.

Франция сыграла свою роль. Весь мир, словно некий арбитр, безучастно взирал на то, что творил с нею враг, а потому ее роль состояла в том, чтобы дать раздавить себя и на время оказаться погребенной в молчании. Когда идут в атаку, кому-то приходится быть впереди. И первых почти всегда убивают. Но для того чтобы атака состоялась, авангард должен погибнуть.

И наша роль была самой высокой, потому что, не строя никаких иллюзий, мы согласились противопоставить одного нашего солдата трем их солдатам и наших крестьян их рабочим! Я не хочу, чтобы о нас судили по уродливым проявлениям разгрома! Неужели о том, кто готов сгореть в полете, станут судить по его ожогам? Ведь он тоже превратится в уroda.

И все-таки эта война, если отвлечься от того духовного смысла, который сделал ее для нас необходимой, велась так, что показалась нам войной нелепой. Я никогда не стыдился этого слова. Не успели мы объявить войну, как тут же, не имея возможности идти в наступление, начали ждать, когда нас соблаговолит уничтожить! И нас уничтожили.

Для борьбы с танками в нашем распоряжении были только снопы пшеницы. Снопы пшеницы для этого совершенно не годились. И теперь уничтожение завершено. Нет больше ни армии, ни резервов, ни связи, ни вооружения.

А я продолжаю свой полет с невозмутимой деловитостью. Я снижаюсь в направлении немецких позиций со скоростью восемьсот километров в час и с числом оборотов три тысячи пятьсот тридцать в минуту. Зачем? То есть как зачем? Да затем, чтобы нагнать на немцев страху! Чтобы они убрались с нашей территории! Поскольку сведения, которых от нас ожидают, бесполезны, это задание не может иметь иной цели.

Нелепая война.

Впрочем, я преувеличиваю. Я сильно снизился. Управление и рукоятки оттаяли. Я лечу по горизонтали с нормальной скоростью. Я прорываюсь к немецким позициям со скоростью всего лишь пятьсот тридцать километров в час и с числом оборотов две тысячи двести в минуту. А жаль. Я напугаю немцев гораздо меньше.

Нас будут упрекать за то, что мы назвали эту войну нелепой войной.

Но ведь нелепой называем ее мы сами! Значит, нам она кажется нелепой. Мы вправе подшучивать над ней, как нам угодно, потому что все жертвы мы берем на себя. Я вправе подшучивать над собственной смертью, если такая шутка может меня развеселить. И Дютертр тоже. Я вправе тешить себя парадоксами. В самом деле, зачем до сих пор пылают деревни? Зачем их жители лишились крова? Зачем мы с такой непоколебимой убежденностью бросаемся в механизированную мясорубку?

Мне позволено все, потому что в эту секунду я прекрасно сознаю, что делаю. Я иду на смерть. Я иду не на риск. Я принимаю не бой. Я принимаю смерть. Мне открылась великая истина. Война — это приятие не риска. Это приятие не боя. Наступает час, когда для бойца — это просто-напросто приятие смерти.

В эти дни, когда за границей считали, что принесенные нами жертвы недостаточны, я спрашивал себя, глядя, как улетают и не возвращаются наши экипажи: «Ради чего мы отдаем свою жизнь? Кто нам за это заплатит?»

Ибо мы действительно умираем. Ибо за две недели уже погибло сто пятьдесят тысяч французов. Может, их смерть вовсе и не свидетельствует о каком-то необычайном сопротивлении. Я отнюдь не прославляю необычайное сопротивление. Оно невозможно. Но ведь есть же отряды пехотинцев, которые идут на смерть, защищая обреченную ферму. Есть авиагруппы, которые тают, как воск, брошенный в огонь.

Взять хотя бы нас, летчиков группы 2/33, — почему мы все еще соглашаемся умирать? Чтобы снискать уважение мира? Но уважение предполагает наличие судьбы. А кто из нас предоставит кому бы то ни было право судить? Мы боремся во имя дела, которое считаем общим делом. На карту поставлена свобода не только Франции, но всего мира, и выступать в роли арбитра слишком удобно. Мы сами судим арбитров. Мои товарищи из авиагруппы 2/33 судят арбитров. И пусть не говорят нам, беспрекословно улетающим в разведку, когда на

возвращение есть только один шанс против трех (и то если задание легкое!), пусть не говорят летчикам из других авиагрупп, пусть не говорят моему товарищу, которому осколок снаряда так изуродовал лицо, что он на всю жизнь лишился естественного права нравиться женщине, лишился его, как узник за решетками тюрьмы, гарантировав себе целомудрие собственным уродством надежнее, чем крепостными стенами, пусть не говорят нам, что нас судят зрители! Тореадоры существуют для зрителей, но мы не тореадоры. Если бы Ошедэ сказали: «Ты должен вылететь, потому что тебя судят свидетели», Ошедэ ответил бы: «Ошибаетесь. Это я, Ошедэ, сужу свидетелей...»

Так за что, в конце концов, мы продолжаем сражаться? За Демократию? Если мы умираем за Демократию, значит, мы солидарны с демократическими странами. Пусть же они сражаются вместе с нами! Но самая могущественная из них, единственная, которая могла бы нас спасти, вчера уклонилась от этого и уклоняется еще сегодня. Ну что ж! Это ее право. Но тем самым она показывает нам, что мы сражаемся лишь за свои интересы. А между тем мы знаем, что все потеряно.

Тогда зачем мы продолжаем умирать?

От отчаяния? Но отчаяния нет! Вы понятия не имеете о разгроме, если думаете, что оно порождает отчаяние.

Есть истина более высокая, чем все доводы разума. Что-то проникает в нас и управляет нами, чему я подчиняюсь, но чего не сумел еще осознать. У дерева нет языка. Мы — ветви дерева. Есть истины очевидные, хотя их и невозможно выразить словами. Я умираю не для того, чтобы задержать нашествие, потому что нет такой крепости, укрывшись в которой я мог бы сопротивляться вместе с теми, кого люблю. Я умираю не ради спасения чести, потому что не считаю, что задета чья-либо честь, — я отвергаю судей. И я умираю не от отчаяния. И все-таки я знаю: Дютертр, который сейчас смотрит на карту, рассчитает, что Аррас находится где-то там, на курсовом угле сто семьдесят пять градусов, и через полминуты скажет мне:

— Курс сто семьдесят пять, господин капитан...

И я возьму этот курс.

— Сто семьдесят два.

— Понял. Сто семьдесят два.

Пусть будет сто семьдесят два. Представляю себе эпитафию: «Вел самолет точно по курсу сто семьдесят два». Сколько времени можно продержаться, бросая столь нелепый вызов врагу? Я лечу на высоте семьсот пятьдесят метров под потолком из сплошных облаков. Поднимись я еще на тридцать метров, и Дютертр уже ничего не сможет сфотографировать. Приходится лететь прямо на виду, предоставляя немецкой артиллерии учебную цель. Семьсот метров — запрещенная высота. Тут служишь мишенью для всей равнины. Принимаешь на себя огонь всей армии. Становишься доступен орудиям любого калибра. Целую вечность остаешься в зоне обстрела каждого орудия. Это уже не обстрел — это избиение палками. Как будто тысячью палок стараются сбить один орех.

Я все досконально продумал: на парашют рассчитывать нечего. Когда подбитый самолет начнет падать, только на то, чтобы открыть люк, потребуется больше секунд, чем продлится само падение. Чтобы открыть люк, надо семь раз повернуть тугую рукоятку. А кроме того, на большой скорости крышка люка деформируется и перестает входить в паз.

Ничего не поделаешь. Однажды приходится проглотить эту пилюлю! Дело не хитрое: держать курс сто семьдесят два. Напрасно я состарился. Напрасно. Я был так счастлив в детстве. Я это говорю, но правда ли это? Уже тогда, в передней, я держал курс сто семьдесят два. Из-за дядюшек.

Детство... Сейчас оно кажется таким милым. Не только детство, но и вся прошедшая жизнь... Я вижу, как она убегает вдаль, словно поле...

И мне кажется, я все такой же. То, что я испытываю теперь, было мне знакомо всегда. Причины моих радостей и горестей, конечно, изменились, но чувства остались прежними. Точно так же был я счастлив или несчастлив. Меня наказывали или прощали. Я учился хорошо. Я учился плохо. Как когда...

Мое самое далекое воспоминание? У меня была нянька из Тироля, звали ее Паула. Но это даже не воспоминание: это воспоминание о воспоминании. Когда мне было пять лет и со мной произошел тот случай в передней, Паула стала уже легендой. Но еще долго в канун Нового года мать говорила нам: «Письмо от Паулы!» Для нас, детей, это была большая радость. Но почему мы так ликовали? Никто из нас Паулу не помнил. Она вернулась в свой Тироль. В свой тирольский домик. Похожий на барометр в виде хижины, затерянной среди снегов. И в солнечные дни Паула показывалась на пороге, как бывает во всех барометрах в виде хижины.

— А Паула красивая?

— Очаровательная.

— А в Тироле часто бывает хорошая погода?

— Всегда.

В Тироле всегда была хорошая погода. Паула выходила из своего домика-барометра, он выталкивал ее далеко-далеко, на снежную полянку. Когда я научился писать, меня заставляли писать Пауле письма. Я писал ей: «Милая Паула, я очень рад, что пишу тебе...» Это было похоже на молитву, потому что я забыл Паулу...

— Сто семьдесят четыре.



— Понял. Сто семьдесят четыре.

Пусть будет сто семьдесят четыре. Придется изменить эпитафию. Любопытно, как вся моя жизнь разом возникла передо мной. Я запаковал свои воспоминания. Они больше уже не понадобятся. Никому и никогда. Я храню память о большой любви. Мать говорила нам: «Паула просит всех вас расцеловать за нее». И мать целовала нас всех за Паулу.

— А Паула знает, что я вырос?

— Конечно знает.

Паула знала все.

— Господин капитан, они стреляют.

Паула, в меня стреляют! Я бросаю взгляд на высотомер: шестьсот пятьдесят метров. Облачность на высоте семьсот метров. Ну что ж. Ничего не поделаешь. Но, вопреки моим предчувствиям, мир под облаками совсем не черный: он синий. Сказочно синий. Наступают сумерки, и вся равнина синяя. Местами идет дождь. И от дождя она синяя...

— Сто шестьдесят восемь.

— Понятно. Сто шестьдесят восемь.

Пусть будет сто шестьдесят восемь. Она все-таки здорово петляет, дорога в вечность... Но какой она мне кажется спокойной, эта дорога! Мир похож на фруктовый сад. Только что он представлялся бездушным, как чертеж. Все мне казалось нечеловеческим. Но теперь я лечу низко и ощущаю какую-то близость с этим миром. Подо мною, то поодиночке, то маленькими рощами, проносятся деревья. Я вижу их. И зеленые поля. И дома под красными черепичными крышами, и того, кто стоит у дверей. И вокруг — прекрасные синие ливни. В такую погоду Паула, разумеется, уводила нас поскорее домой...

— Сто семьдесят пять.

Моя эпитафия уже теряет свое суровое благородство: «Вел самолет по курсу сто семьдесят два, сто семьдесят четыре, сто шестьдесят восемь, сто семьдесят пять...» Это уже легкомыслие. Вот тебе на! Мотор чихает! Он охлаждается. Закрываю створки капота. Ладно. Пора открыть запасной бак — я поворачиваю ручку. Не забыл ли я чего? Бросаю взгляд на указатель давления масла. Все в порядке.

— Дрянь дело, господин капитан.

Слышишь, Паула? Дело дрянь. И все-таки я не могу не поражаться синеве этого вечера. Она так необычна! Цвет до того глубокий! И эти бегущие фруктовые деревья, быть может сливы. Я вписался в пейзаж. С витринами покончено! Я вор, перепрыгнувший через ограду. Широкими шагами я ступаю по мокрой люцерне и ворую сливы. Паула, это нелепая война. Война печальная и такая синяя! Я немного заблудился. Я открыл эту необыкновенную страну, уже старея... О нет, мне не страшно. Немного грустно, и все.

— Маневрируйте, капитан!

Вот это новая игра, Паула! Нажмешь правой ногой, нажмешь левой — и артиллерия сбита с толку. Когда я падал, я набивал себе шишки. Ты, конечно, делала мне примочки. Скоро мне до зарезу понадобятся твои примочки. И все-таки знаешь... она сказочна, эта вечерняя синева!

Там, впереди, я заметил три расходящихся копыя. Три вертикальных стебля, длинных и блестящих. Следы трассирующих пуль или снарядов малого калибра. И все это золотилось. Вдруг я увидел, как в синеве вечера метнулся ввысь ослепительный блеск тройного канделябра...

— Капитан! Слева сильнейший огонь! Берите вправо!

Жму на педаль.

— Да, плохо дело...

Возможно...

Дело плохо, но я не выхожу из границ своего мира. Со мною все мои воспоминания, все накопленные сокровища, все, кого я люблю. Со мной мое детство, которое, словно корень, теряется во тьме. Я начал жизнь печалью воспоминания... Дело плохо, но я вовсе не ощущаю того, что предполагал испытать в когтях этих падающих звезд.

Я в милой моему сердцу стране. Вечереет. Слева широкие полосы света между грозowymi тучами образуют прямоугольные окна собора. Я почти касаюсь рукой всех этих прекрасных вещей, — они в двух шагах от меня. Вот деревья, осыпанные сливами. Вот земля — она пахнет землей. Хорошо, должно быть, ходить по росе. Знаешь, Паула, я лечу тихо-тихо, покачиваясь с боку на бок, как воз с сеном. Кажется, что самолет летит быстро... разумеется, если думать об этом! Но если забыть о машине, если смотреть по сторонам, тогда это словно прогулка в поле...

— Аррас...

Да. Там, далеко впереди. Но Аррас не город. Аррас — это всего лишь красный фитиль на фоне ночной синевы. На фоне грозы. Потому что ясно — слева и спереди надвигается грандиозный ливень. Одними сумерками такой мрак не объяснить. Такая тьма может быть только под огромными скоплениями облаков.

Пламя Арраса поднялось выше. Это не пламя пожара. Пожар распространяется вширь, как язва, окаймленная обнаженным мясом. А этот красный фитиль, непрерывно питаемый горючим, похож на фитиль чуть коптящей лампы. Это пламя горит спокойно, уверенное в том, что не погаснет, что горючего вдоволь. В нем чувствуется компактная, почти весомая плоть, которую порой колышет ветер, раскачивая словно дерево. Вот именно... дерево. Это дерево оплело Аррас сетью своих корней. И все, что есть в Аррасе, все запасы Арраса, все сокровища Арраса устремляются ввысь, превращенные в соки, питающие дерево.

Я вижу, как это порой слишком тяжелое пламя, клонясь то вправо, то влево, выплевывает клубы черного дыма, а потом снова устремляется вверх. Но я все еще не различаю города. В этом зареве — вся война. Дютертр говорит, что дело плохо. Ему впереди виднее. А меня больше всего удивляет какая-то снисходительность судьбы: эта отравленная равнина мечет в нас не так уж много ядовитых звезд.

— Да, но...

Ты знаешь, Паула, в волшебных сказках моего детства рыцарь на пути к таинственному заколдованному замку проходил через грозные испытания. Он взбирался на ледники. Он преодолевал пропасти, расстраивал козни предателей. Наконец, его взору являлся замок среди голубой равнины, по которой конь его скакал мягко, как по лужайке. Рыцарь уже считал себя победителем... Ах, Паула, того, кто знает, что такое сказка, — не обманешь! Здесь-то всегда и начиналось самое трудное!..

Вот так и я несусь сквозь вечернюю синеву к своему огненному замку, как бывало прежде... Ты уехала слишком рано и не знаешь наших игр, тебе не пришлось играть с нами в рыцаря Аклена. Мы сами придумали эту игру, потому что презирали обычные игры. В эту игру мы играли в те дни, когда надвигалась сильная гроза, когда, после первых молний, по особому аромату и по внезапному трепету листьев мы чувствовали, что туча вот-вот разразится ливнем. Густая листва превращается тогда на мгновение в шипучую и легкую пену. Это было сигналом... ничто уже не могло нас удержать.

Из самой глубины парка, по широким лужайкам, мы что было духу мчались к дому. Первые капли грозового ливня падают тяжело и редко. Первый, на кого попадала капля, считался побежденным. Потом второй. Потом третий. Потом и остальные. Тому, кто продержался дольше всех, конечно, покровительствовало небо, он был неуязвим! И он получал право, до следующей грозы, носить имя рыцаря Аклена...

И каждый раз, в несколько секунд, игра завершалась гекатомбой детей.

Я и сейчас играю в рыцаря Аклена. Я несусь к моему огненному замку, медленно, но так, что дух захватывает...

И вдруг:

— Ну, капитан! Такого я еще не видывал...

Такого я тоже не видывал. Я перестал быть неуязвимым. О, я и не знал, что я все-таки надеялся...

Несмотря на высоту семьсот метров, я надеялся. Несмотря на танковые парки, несмотря на пламя Арраса, я надеялся. Я надеялся безнадежно. Я возвращался памятью в детство, чтобы снова почувствовать себя под его высокой защитой. Для взрослого нет защиты. Когда ты становишься взрослым, тебя пускают одного. Но кто осмелится обидеть ребенка, которого держит за руку всемогущая Паула? Паула, я укрылся твоей тенью, как щитом...

Я перепробовал все хитрости. Когда Дютертр сказал мне: «Дело плохо», — я обратился в надежду даже эту угрозу. Мы на войне: так нужно же, чтобы война хоть в чем-то проявилась. И она проявилась всего лишь в нескольких светящихся росчерках. Так вот она какая, эта знаменитая смертельная опасность над Аррасом? Просто смешно!..

Осужденный на смерть представляет себе палача в виде безликого робота. Но вот приходит славный малый, который умеет чихать и даже улыбаться. Осужденный цепляется за эту улыбку, как будто она — путь к спасению... Однако это призрачный путь. Палач, хоть он и чихает, все равно отрубит ему голову. Но можно ли отказаться от надежды?

Как было и мне не ошибиться в том, какой прием нам окажут, если под нами расстилался такой простой и милый сельский пейзаж, если так приветливо блестели мокрые черепичные крыши и, хотя проходили минуты, ничто не менялось и как будто не должно было измениться. Если мы трое — Дютертр, стрелок и я — просто возвращались домой с прогулки по полям, даже не подняв воротников, потому что никакого дождя не было. Если в глубине немецких позиций не обнаруживалось ничего примечательного и если не было никакой видимой причины, которая в дальнейшем непременно должна была изменить облик войны. Если казалось, что враг рассеялся и как бы растворился в безграничности полей, так что, может быть, и осталось-то всего по одному солдату на дом, по одному солдату на дерево, и кто-нибудь из них, вспомнив про войну, время от времени начинал стрелять. Ему без конца вдалбливали: «Ты должен стрелять по самолетам...» Но сейчас это припоминалось смутно, как сквозь сон. Солдат давал короткую очередь, сам хорошенько не зная, нужно ли это. Так, бывало, гуляя по вечерам с милой сердцу спутницей, я охотился на уток, вовсе не думая о них: я стрелял, а сам говорил совсем о другом. Уток это вполне устраивало...

Очень легко увидеть то, что хочешь видеть: вот этот солдат целится в меня, но так, между прочим, и пули его летят мимо. Другие солдаты пропускают нас. Те, что могли бы подставить нам ножку, может быть, с наслаждением вдыхают в эту минуту запахи ночи, или закуривают сигарету, или досказывают анекдот — и они пропускают нас. Расквартированные вон в той деревне, быть может, протягивают за супом свой котелок. Раздается и затихает какой-то гул. Свои или чужие? Им некогда разбираться, они видят лишь наполняемый котелок — и пропускают нас. А я, засунув руки в карманы и посвистывая, пытаюсь как ни в чем не бывало прошмыгнуть через этот сад, в котором гулять запрещено, но куда каждый сторож, полагаясь на другого, беспрепятственно пропускает меня...

Я так уязвим! Сама моя беспомощность — ловушка для них: «Зачем вам беспокоиться? Меня собьют чуть подальше...» Это так очевидно! «Ну и проваливай! Пусть тебя сбивает кто хочет!..» Они переключаются эту скучную работу на других, чтобы не пропустить свою очередь за супом, чтобы не прерывать шутки или чтобы просто насладиться вечерним ветерком. А я пользуюсь их нерадивостью, я вырываю свое спасение у этой минуты, когда

война утомила их всех, всех до единого, как нарочно, — а почему бы и нет? И я уже прикидываю, как, справившись со своим заданием, от солдата к солдату, от взвода к взводу, от деревни к деревне доберусь домой. В конце-то концов, мы всего лишь пролетающий в вечернем небе самолет... Из-за него и голову поднимать не стоит!

Конечно, я надеялся вернуться. Но в то же время я знал: что-то должно произойти. Вас осудили на казнь, но тюрьма, где вы заключены, еще безмолвствует. Вы судорожно цепляетесь за эту тишину. Каждая секунда похожа на прошедшую. И нет никаких оснований считать, что та, которая вот-вот наступит, перевернет мир. Такой труд ей не под силу. Каждая секунда, одна за другой, спасает тишину. И уже кажется, что она будет длиться вечно...

Но вот раздаются шаги того, чей приход неотвратим.

В ландшафте что-то нарушилось. Так полено, которое, казалось, потухло, с внезапным треском выбрасывает целый сноп искр. Какая тайная сила заставила всю равнину мгновенно отозваться на наше присутствие? Весною деревья рассеивают свои семена. Почему вдруг наступила весна для орудий? Откуда потоки света, которые устремляются к нам и, кажется, разом заполняют все?

Мое первое ощущение — что я допустил какую-то оплошность. Я все испортил. Когда равновесие слишком неустойчиво, достаточно бывает моргнуть глазом или шевельнуть рукой. Альпинист кашлянул, и лавина сдвигается с места. А когда она сдвинулась — все пропало.

Мы тяжело ступали по этому синему болоту, уже потонувшему во тьме. Мы взбаламутили эту спокойную тину, и вот она взметнулась к нам десятками тысяч золотых пузырьков.

В пляску вступило множество жонглеров. Множество жонглеров кидают десятки тысяч шаров, летящих к нам один за другим. Из-за отсутствия углового отклонения сначала они кажутся нам неподвижными, но потом, подобно шарикам, которые искусный жонглер не бросает, а как бы выпускает на свободу, медленно возносятся кверху. Я вижу, как светящиеся слезы текут ко мне сквозь вязкую тишину. Тишину, сопровождающую выступление жонглеров.

Каждая пулеметная очередь или залп скорострельных зенитных пушек мечет сотни снарядов или трассирующих пуль, которые нижутся друг за другом, как бусины четок. Тысячи четок устремляются к нам, их упругие нити растягиваются до предела и рвутся на нашей высоте.

И в самом деле, если смотреть сбоку, видно, что не попавшие в нас снаряды и пули летят с головокружительной быстротой. Слезы превращаются в молнии. Я очутился в бескрайнем поле траекторий, отливающих золотом спелой пшеницы. Я попал в сноп летящих копий. Мне угрожают бесчисленные иглы, затеявшие какой-то головокружительный хоровод. Вся равнина протянула ко мне свои нити и тклет вокруг меня сверкающую сеть.

Когда я склоняюсь над землей, я вижу эти слои сияющих пузырьков, которые поднимаются с медлительностью пелены тумана. Я вижу это медленное кружение семян: так улетает мякина, когда молотят зерно. Но если смотреть по горизонтали — вокруг меня одни только копья, снопы копий. Огонь? Да нет же! Меня атакуют холодным оружием! Я вижу лишь светящиеся мечи! Я чувствую... Какая там опасность! Я ослеплен великолепием этого зрелища!

Тр-р-рах!

Я на двадцать сантиметров подскочил над сиденьем. На самолет словно обрушился удар тарана. Он разбит, рассыпался в пыль... но, нет... нет... я чувствую, что он еще поддается управлению. Это только первый удар целой лавины ударов. А между тем я не видел разрывов. Должно быть, их дым сливается с темной землей: я поднимаю голову и смотрю.

И вижу — спасения нет.

Склонившись над землей, я не заметил, что пустое пространство между облаками и мной постепенно расширилось. Трассирующие снаряды излучали пшеничный свет: откуда мне было знать, что, достигнув высшей точки, они вонзают в небо что-то темное, словно вбивают гвозди. Я вижу, как эти дымки разрывов уже собираются в клубящиеся пирамиды, уплывающие назад с медлительностью полярных льдин. Когда смотришь на них с такого расстояния, кажется, что сам ты неподвижен.

Я знаю, что эти сооружения, едва возникнув, становятся безопасны. Все эти хлопья располагали властью над жизнью и смертью в течение лишь сотой доли секунды. Но незаметно они окружили меня со всех сторон. С их появлением над моей головой нависает тяжесть грозного приговора.

Эти сплошные бесшумные взрывы, заглушаемые ревом мотора, создают иллюзию необычайной тишины. Я ничего не ощущаю. Во мне зияет пустота ожидания, словно мои судьбы удалились на совет.

Я думаю... я все-таки думаю: «Они берут слишком высоко!» Я запрокидываю голову и вижу, как, словно нехотя, отлетает назад целая стая орлов. Эти отказались от добычи. Но надеяться не на что.

Орудия, бившие мимо нас, пристреливаются. Стены разрывов вновь вырастают уже на нашей высоте. Каждая огневая точка за несколько секунд воздвигает свою пирамиду взрывов, но тут же отказывается от нее за негодностью, чтобы воздвигнуть новую в другом месте. Огонь не ищет нас: он замыкает нас в кольцо.

— Дютертр, далеко еще?

— ...продержаться бы хоть три минуты, мы бы закончили... но...

— Может, проскочим...

— Черта с два!

До чего она мрачна, эта серая мгла, серая, как сваленная в кучу ветошь. А равнина была синяя. Бесконечно синяя. Синяя, как морская глубь...

Сколько я могу продержаться? Десять, двадцать секунд? Взрывные волны встряхивают меня уже беспрестанно. Самые близкие стучат по самолету, словно камни, падающие в тачку. И тогда весь самолет издает почти музыкальный звук. Какой-то странный стон... Значит, снаряды пролетели мимо. Это как с молнией: чем она ближе, тем все проще. Иногда я ощущаю обыкновенный толчок: значит, нас задело осколком. Хищный зверь, убивая быка, не встряхивает его. Он уверенно и точно вонзает в него когти. Он сразу завладевает быком. Так и прямые попадания просто врезаются в самолет, как в мышцу.

— Ранен?

— Нет!

— Эй! стрелок, ранен?

— Нет!

Но эти толчки, описывать которые все же приходится, не идут в счет. Они барабанят по скорлупе, по барабану. Вместо того чтобы разворотить баки, они с такою же легкостью могли бы вспороть нам животы. Но и живот всего лишь барабан. На тело-то плевать! Оно не в счет... вот это и удивительно!

О теле мне нужно сказать несколько слов. Ведь в повседневной жизни человек слеп к

очевидности. Чтобы она стала зримой, необходимы вот такие исключительные обстоятельства. Необходим этот дождь восходящих огней, необходимы эти надвигающиеся на тебя копы, необходимо, наконец, чтобы ты предстал перед этим трибуналом для Страшного суда. Вот тогда ты поймешь.

Снаряжаясь в полет, я спрашивал себя: «Какими они будут, последние мгновения?» Жизнь всегда разрушала выдуманные мною химеры. Но на этот раз пришлось идти обнаженным под градом бешеных ударов, даже не имея возможности прикрыть рукою лицо.

Испытание я представлял себе, как испытание для моей плоти. Я считал, что риску подвергается прежде всего плоть. Точка зрения, на которую я по необходимости становился, была точкой зрения моего тела. Мы так много занимаемся своим телом! Так старательно одеваем его, моем, холим, бреем, поим и кормим. Мы отождествляем себя с этим домашним животным. Водим его к портному, к врачу, к хирургу. Страдаем вместе с ним. Плачем вместе с ним. Любим вместе с ним. О нем мы говорим: «Это я». И вдруг вся эта иллюзия рушится. Тело мы не ставим ни в грош! Низводим его до уровня прислуги. Стоит только вспыхнуть гневу, заплыть любви, проснуться ненависти, и эта пресловутая солидарность дает трещину.

Твой сын в горящем доме? Ты спасешь его! Тебя не удержат! Пусть ты горишь. Тебе плевать на это! Ты готов кому угодно заложить свою плоть, эту жалкую ветошь! Ты вдруг обнаруживаешь, что вовсе и не привязан к тому, что казалось тебе таким важным. Ты готов лишиться руки, только бы не отказать себе в роскоши протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается. Ты весь в твоём действии. Твое действие — это ты. Больше тебя нет нигде. Твое тело принадлежит тебе, но оно уже не ты. Ты готов нанести удар? Никто не сможет обуздать тебя, угрожая твоему телу. Ты — это смерть врага. Ты — это спасение сына. Ты обмениваешь себя. И у тебя нет такого чувства, будто ты теряешь на этом обмене. Твои руки, ноги? Они — только орудия. Плевать на орудие, если оно ломается, когда с его помощью обтесывают камень. И ты обмениваешь себя на смерть соперника, на спасение сына, на исцеление больного, на твоё открытие, если ты изобретатель. Товарищ из нашей группы смертельно ранен. Приказ с объявлением ему благодарности гласит: «И он сказал своему штурману: мне — крышка. Беги! Спасай документы!..» Важно только спасение документов, или ребенка, исцеление больного, смерть соперника, открытие! И смысл твоего существования становится вдруг ослепительно ясен. Смысл его — это твой долг, твоя ненависть, твоя любовь, твоя верность, твоё изобретение. Ты не находишь в себе ничего другого.

Огонь освободил тебя не только от плоти, но одновременно и от культа плоти. Человек перестал интересоваться собой. Ему важно лишь то, к чему он причастен. Умирая, он не исчезает, а сливается с этим. Он не теряет, а находит себя. И это не проповедь моралиста. Это обыденная, повседневная истина, которую повседневные иллюзии скрывают под своей непроницаемой маской. Мог ли я предвидеть, когда снаряжался в полет и испытывал страх за своё тело, что все это сущий вздор? Только в тот миг, когда жертвуешь телом, с изумлением обнаруживаешь, как мало оно для тебя значит. Но, разумеется, в обычной жизни, если мною не движет крайняя необходимость, если речь не идет о самом смысле моего существования, я не представляю себе ничего более важного, чем заботы, связанные с моим телом.

Подумаешь, тело! Да мне на тебя начхать! Я выброшен из тебя вон, у меня нет больше надежды, и ничего мне не нужно! Я отвергаю все, чем я был до этой секунды. Не я думал о чем-то. Не я чувствовал что-то. То было мое тело. С грехом пополам я вынужден был



дотащить его до той секунду, когда вдруг обнаружил, что оно не имеет для меня никакого значения.

Первый урок я получил в пятнадцать лет. Мой младший брат болел, и уже несколько дней, как был признан безнадежным. Однажды утром, часа в четыре, меня будит его сиделка:

— Ваш брат зовет вас.

— Ему плохо?

Она не отвечает. Поспешно одеваюсь и бегу к брату.

Он обращается ко мне своим обычным голосом:

— Я хотел поговорить с тобой прежде, чем умру. Я умираю.

Лицо его сводит судорога, и он умолкает. При этом он делает отрицательный жест рукой. И я не понимаю его жеста. Мне кажется, что мальчик отталкивает смерть. Но, успокоившись, он объясняет мне:

— Не бойся... я не страдаю. Мне не больно. Но я не могу удержаться. Это мое тело.

Его тело — уже не принадлежащее ему владение.

Но он хочет говорить серьезно, мой маленький брат, который через двадцать минут умрет. Он чувствует настоятельную потребность передать кому-то в наследство частицу себя. Он говорит: «Я хотел бы оставить завещание...» И он краснеет, гордый, разумеется, тем, что поступает, как взрослый мужчина. Если бы он был строителем башни, он завещал бы мне достроить свою башню. Если бы он был отцом, он завещал бы мне воспитание своих сыновей. Если бы он был военным летчиком, он завещал бы мне бортовые документы. Но он всего лишь ребенок. Он завещает мне моторную лодку, велосипед и ружье.

Человек не умирает. Он воображает, будто боится смерти, но боится он неожиданности, взрыва, боится самого себя. Страх смерти? Нет. Когда встречаешься со смертью, ее уже не существует. Брат сказал мне: «Не забудь записать все это...» Когда разрушается тело, становится очевидным главное. Человек — всего лишь узел отношений. И только отношения важны для человека.

Мы бросаем тело, эту старую клячу. Кто думает о себе, умирая? Такого я еще не встречал!..

— Капитан!

— Что?

— Вот здорово!

— Стрелок...

— Гм... да?..

— Какой...

Мой вопрос прерывается толчком.

— Дютертр!

— ...тан?

— Задело?

— Нет.

— Стрелок...

— Да?

— За...

Я словно врезался в железную стену. Я слышу:

— Ну и ну!..

Поднимаю голову к небу, взглядом измеряю расстояние до облаков. Когда я смотрю под углом, я вижу, как все теснее громоздятся черные хлопья. Если же смотреть вверх, они кажутся более редкими. И я вижу грандиозную корону с черными розетками, возникшую над нашими головами.

Мышцы бедер обладают поразительной силой. Я жму на педали так, словно хочу пробить стену. Я бросаю самолет в сторону. Он делает резкий рывок влево, треща и вибрируя. Корона взрывов скользнула вправо. Я скинул ее с моей головы. Я обманул орудия, они бьют теперь мимо. Я вижу, как справа скопляются уже безвредные для меня разрывы. Но прежде чем я нажал другой ногой, чтобы уйти в противоположную сторону, надо мной уже снова возникла корона. С земли опять пристрелялись. Самолет, ухнув, вновь низвергается в провалы. Но я опять всей тяжестью тела навалился на педаль. Я бросил, или, вернее, рванул, самолет в противоположную сторону (к черту координацию!), и корона съехала влево.

А вдруг продержимся? Но долго эта игра продолжаться не может! Как бы резко я ни двигал педалями, оттуда, спереди, на меня опять надвигается ливень разящих копий. Корона опять нависает надо мной. Все мое нутро вновь сотрясается от толчков. И, глядя вниз, я снова вижу это головокружительно медленное восхождение направленных прямо на меня пузырьков. Непостижимо, что мы еще целы. И все-таки я убеждаюсь, что я неуязвим. Я чувствую себя победителем! Каждую секунду — я победитель!

— Задело?

— Нет...

Их не задело. Они неуязвимы. Они — победители. Я команду экипажем победителей...

Теперь каждый разрыв уже не угрожает нам: он нас закаляет. При каждом разрыве, в течение десятой доли секунды, я думаю, что моя машина превратилась в пыль. Но она все еще повинуется управлению, и я поднимаю ее, как коня, туго натягивая поводья. И тогда мне становится легче и меня охватывает тайное ликование. Я не успеваю испытать страх, я чувствую лишь физическую встряску, как от сильного шума, — и тут же мне даруется вздох облегчения. Я бы должен сначала почувствовать толчок от удара, потом страх, потом разрядку. Как бы не так! На это нет времени! Я чувствую толчок, потом разрядку. Толчок, разрядка. Один этап отсутствует — нет страха. И я живу не ожиданием смерти в каждую ближайшую секунду; я живу воскресением, наступающим сразу вслед за секундой предшествующей. Я живу в какой-то струе радости. В непрерывном потоке ликования. И вдруг мне становится удивительно хорошо.словно с каждой секундой мне вновь даруется жизнь.словно с каждой секундой я ощущаю ее все полнее. Я живу. Я жив. Я еще жив. Я превратился в источник жизни. Меня охватывает опьянение жизнью. Говорят: «Опьянение боем...» Но это и есть опьянение жизнью! О, знают ли те, кто стреляет в нас снизу, знают ли они, что они нас выковывают?

Маслобаки, баки с горючим — все пробито. Дютертр говорит: «Закончил! Набирайте высоту!» Я еще раз измеряю на глаз расстояние, отделяющее меня от облаков, и кабрирую. Еще раз опрокидываю самолет влево, потом вправо. Еще раз бросаю взгляд на землю. Мне никогда не забыть этого зрелища. Вся равнина сверкает короткими горящими фитилями. Разумеется, скорострельные пушки. Со дна огромного голубоватого аквариума продолжают подниматься пузырьки. Пламя Арраса льет багровый свет, как железо на наковальне; его обильно питают подземные запасы, и пот человека, разум человека, искусство человека, его

воспоминания и сокровища, вздымаясь вверх, сплетаются в этом косматом пламени и превращаются в гарь, уносимую ветром.

Я уже касаюсь первых ключев тумана. Вокруг нас еще возносятся золотые стрелы, прорывая снизу брюхо облаков. В последний раз я вижу землю через последний из этих прорывов, когда облако уже окутывает меня. На мгновение передо мной возникает пылающий Аррас, зажженный на ночь, как лампада в глубине церковного нефа. Она горит во славу какого-то божества, но обходится слишком дорого. Завтра она уничтожит и поглотит все. Свидетельство я уношу с собою — образ пылающего Арраса.

— Ну как, Дютертр?

— Нормально, господин капитан. Курс двести сорок. Через двадцать минут пробьем облака. Сориентируемся где-нибудь по Сене.

— Ну как, стрелок?

— Гм... да... капитан... нормально.

— Что, жарко пришлось?

— Гм... нет... да...

Он и сам не знает. Он доволен. Я вспоминаю стрелка из экипажа Гавуаля. Однажды ночью, на Рейне, восемьдесят прожекторов взяли Гавуаля в кольцо своих лучей. Они воздвигли вокруг него гигантский собор. Начинается обстрел. И вот Гавуаль слышит, как его стрелок тихонько разговаривает сам с собой (ларингофоны не отличаются скромностью). Стрелок сам с собой откровенничает: «Ну что, старина... Каково?.. Разве на гражданке такое увидишь?..» Он был доволен, этот стрелок.

А я медленно перевожу дух. Набираю полную грудь воздуха. Как чудесно дышать. Теперь мне станет понятно множество всяких вещей... Но прежде всего я думаю об Алиасе. Нет. Прежде всего я думаю о своем фермере. Значит, я все-таки спрошу его, сколько у меня приборов... Обязательно спрошу! Я не отказался от этого намерения. Их сто три. Кстати... Что там у меня с указателями горючего, давления масла... Когда баки пробиты, за ними надо следить. И я слежу. Резиновые протекторы задерживают течь. Прекрасное усовершенствование! Я слежу также за гироприборами: это облако не очень-то приветливо. Грозовая туча. Она нас здорово потряхивает.

— Ну как? Не пора снижаться?

— Десять минут... давайте обождем еще десять минут.

Ладно, обожду еще десять минут. Ах да, я думал об Алиасе. Рассчитывает ли он, что мы вернемся? В прошлый раз мы опоздали на полчаса. Полчаса, вообще говоря, опоздание серьезное... Бегу к товарищам — они обедают. Открываю дверь, сажусь на свое место рядом с Алиасом. Как раз в эту минуту майор поднял вилку, на которую подцепил лапшу. Он уже собирался положить ее в рот. Но он подсакивает, застывает с открытым ртом и смотрит на меня. Лапша повисла на вилке.

— А!.. Вот хорошо... рад вас видеть!

И он запикивает лапшу в рот.

По-моему, у него есть серьезный недостаток, у майора. Он упрямо расспрашивает летчиков о результатах полета. Он будет расспрашивать и меня. Он будет смотреть на меня с угрожающим терпением, ожидая, что я открою ему какие-то новые истины. Он вооружится бумагой и авторучкой, чтобы не потерять ни одной капли этого эликсира. Мне вспоминается юность; «Кандидат Сент-Экзюпери, как вы проинтегрируете уравнения Бернулли?»

— Гм...

Бернулли... Бернулли... И я цепенею под взглядом экзаменатора, как букашка, насаженная на булавку.

Результаты полета — это дело Дютертра. Он наблюдает за землей. Он видит кучу всяких вещей. Грузовики, баржи, танки, орудия, солдат, лошадей, железнодорожные станции, поезда на станциях, начальников станций. Я же наблюдаю под небольшим углом. Я вижу облака, море, реки, горы, солнце. Я не вижу подробностей. У меня создается лишь общее впечатление.

— Вы ведь знаете, господин майор, что пилот...

— Ну, ну! Что-нибудь заметить всегда можно.

— Я... Ах да! Пожары! Я видел пожары. Это очень интересно...

— Не очень. Все горит. Ну, а кроме пожаров?

Почему Алиас так жесток?

Будет ли он расспрашивать меня и на этот раз?

То, с чем я возвращаюсь с задания, нельзя изложить в докладе. Я буду плавать, как школьник у классной доски. У меня будет очень несчастный вид, а между тем я не буду несчастен. С несчастьем покончено... Оно улетучилось, как только засветились первые пули. Стоило мне повернуть назад на одну секунду раньше, и я ничего бы не узнал о себе.

Я не узнал бы чудесной нежности, что подступает мне к сердцу. Я возвращаюсь к своим. К себе домой. Я похож на хозяйку, которая, обойдя лавки, направляется к дому и думает о том, какими вкусными кушаньями она порадует свою семью. Корзинка с провизией в ее руке раскачивается из стороны в сторону. Время от времени она приподнимает газету, которой закрыты покупки: тут все, что нужно. Она ничего не забыла. И она улыбается при мысли о том, как удивит свою семью, и идет не спеша. Она поглядывает на витрины.

Я тоже с удовольствием поглядел бы на витрины, если бы Дютертр позволил мне выйти из этой белесой тюрьмы. Я смотрел бы, как убегают поля. Впрочем, действительно, лучше немного потерпеть: этот ландшафт отравлен. Там все в заговоре против нас. Даже маленькие провинциальные виллы с их забавными лужайками и несколькими дюжинами прирученных деревьев, похожие на нехитрые футлярчики для наивных девушек, — даже они оказываются ловушками. Попробуй спуститься ниже, и вместо дружеских приветствий тебя угостят артиллерийским огнем.

Хотя я в грозном облаке, я все же возвращаюсь с рынка. Интонация у майора была, конечно, правильная: «Дойдете до первой улицы направо и там, на углу, купите мне коробку спичек...» Моя совесть спокойна. Спички у меня в кармане. Или, точнее, в кармане моего товарища, Дютертра. Как это ему удастся запомнить все, что он видел? Однако это его дело. У меня заботы серьезнее. По возвращении, если нас не ждет опять возня с перебазированием, я вызову Лакордэра на поединок и объявлю ему мат. Он терпеть не может проигрывать. Я тоже. Но я выиграю.

Вчера Лакордэр напился. Впрочем... не сильно: я не хочу его порочить. Он выпил, чтобы утешиться. Возвращаясь на базу, он забыл выпустить шасси и посадил самолет прямо на брюхо. Алиас, который, увы, при этом присутствовал, с грустью посмотрел на самолет, но не сказал ни слова. Как сейчас вижу Лакордэра, старого летчика. Он ждал упреков Алиаса. Он надеялся на упреки Алиаса. От яростных упреков ему стало бы легче. Их взрыв позволил бы и ему взорваться. В ответ он мог бы излить свое бешенство. Но Алиас качал головой. Алиас сокрушался о самолете, ему плевать было на Лакордэра. Для майора этот неприятный случай был только очередной аварией, чем-то вроде неизбежного налога на его имущество. Дело заключалось всего лишь в дурацкой рассеянности, которая иной раз подводит даже самых опытных летчиков. Но Лакордэра она подвела несправедливо. Если не считать сегодняшнего промаха, Лакордэр был профессионально безупречен. Вот почему Алиас, интересуясь только пострадавшим самолетом, совершенно машинально спросил у самого Лакордэра, что он думает о повреждениях. И я почувствовал, как вспыхнуло подавленное бешенство Лакордэра. Вы тихонько кладете руку на плечо палача и говорите: «Несчастливая жертва... представляю, как она, бедняжка, страдает...» Движения человеческого сердца непостижимы. Ласковая рука, вместо того чтобы пробудить в палаче сочувствие, приводит его в ярость. Он мрачно глядит на жертву. Он жалеет, что сразу не прикончил ее.

Так вот. Я возвращаюсь домой. Группа 2/33 — мой дом. И я хорошо знаю своих домашних. Я не могу ошибиться в Лакордэре. Лакордэр не может ошибиться во мне. Я сознаю нашу общность с поразительной ясностью: «Мы — летчики из группы 2/33». Вот уже разрозненные куски связываются в одно целое.

Я думаю о Гавуале и Ошедэ. Я сознаю свою общность с Гавуалем и Ошедэ. Гавуаль. Какого он происхождения? В нем чувствуется здоровая крестьянская основа. Неожиданно во мне всплывает теплое воспоминание, и аромат его проникает в самое сердце. Когда мы стояли в Орконте, Гавуаль, как и я, жил на ферме. Однажды он говорит:

— Хозяйка заколола свинью. Она приглашает нас на кровяную колбасу.

Мы трое, Израэль, Гавуаль и я, с наслаждением грызли темную хрустящую корочку. Крестьянка подала нам легкое белое вино. Гавуаль сказал мне: «Посмотри, что я купил. Надпиши, ей будет приятно». Это была одна из моих книг. И я не почувствовал ни малейшей неловкости. Я охотно надписал, чтобы доставить ей удовольствие. Израэль набивал трубку. Гавуаль почесывал ногу, хозяйка, казалось, была очень рада получить в подарок книгу с надписью самого автора. Кровяная колбаса благоухала. Я немного охмелел от легкого белого вина и не чувствовал себя чужим, несмотря на то что надписал книгу, — прежде мне это всегда казалось какой-то нелепостью. Я себя чувствовал своим. Несмотря на мою книжку, я не производил впечатления ни писателя, ни зрителя. Я пришел сюда не со стороны. Израэль дружелюбно смотрел, как я надписываю книжку. Гавуаль все так же простодушно почесывал ногу. И я испытывал к ним какую-то смутную благодарность. Из-за этой книги я мог бы выглядеть сторонним наблюдателем. А между тем я не производил впечатления ни интеллигента, ни наблюдателя. Я был своим.

Мне всегда была ненавистна роль наблюдателя. Что же я такое, если я не принимаю участия? Чтобы быть, я должен участвовать. Меня питают достоинства моих товарищей, достоинства, о которых они и сами не ведают, и не по скромности, а просто потому, что им на это наплевать. Ни Гавуаль, ни Израэль не раздумывают о себе. Они — это сеть связей, связей с их трудом, с их профессией, с их долгом. И с этой дымящейся колбасой. Меня опьяняет реальность их присутствия. Я могу молчать. Могу пить легкое белое вино. Могу даже сделать надпись на книге, не отчуждая себя от них. Ничто не нарушит нашего братства.

Я вовсе не собираюсь принижать ни успехов разума, ни побед мышления. Я восхищаюсь светлыми умами. Но чего стоит человек, если у него нет сущности? Если он — только видимость, а не бытие? Эта сущность очевидна для меня в Гавуале и в Израэле. Она была очевидна для меня в Гийоме.

Преимущества, которые дает мне моя писательская деятельность, например, возможность получить разрешение и уйти из группы 2/33, чтобы заняться другой работой, если бы профессия летчика мне разонравилась, — об этом я и думать не могу без отвращения. Это всего лишь свобода не быть. Только выполнение своего долга позволяет человеку стать чем-то.

Мы все, во Франции, чуть не погибли от разума, лишеного сущности. Гавуаль есть. Он любит, ненавидит, радуется, ворчит. Он весь соткан из связей. Сидеть против него, грызть эту хрустящую колбасу для меня такое же наслаждение, как и выполнять свой профессиональный долг, который превращает нас в единое дерево. Я люблю группу 2/33. Я люблю ее не как зритель, радующийся прекрасному зрелищу. Плевать мне на зрелища. Я люблю группу 2/33, потому что я неотделим от нее, потому что она питает меня и потому что я тоже ее питаю.

И теперь, возвращаясь из Арраса, я больше, чем когда-либо, принадлежу своей группе. Я связал себя с нею еще одной нитью. Во мне укрепилось это чувство общности, наслаждаться которым можно только в тишине. Израэль и Гавуаль бывали, возможно, в еще худших переделках, чем я. Израэль не вернулся. Но с моей сегодняшней прогулки я тоже возвращаюсь только чудом. Она дает мне еще большее право сесть за общий стол и молчать вместе с ними. Это право покупается дорогой ценой. Но и стоит оно очень дорого — право быть. Вот почему я с легким сердцем надписал свою книжку... Это ничего не портило.

А сейчас я краснею при мысли о том, как буду бормотать что-то нечленораздельное, когда майор станет меня расспрашивать. Мне будет стыдно. Майор подумает, что я туповат. Разговоры о моих книгах не смущают меня, потому что, наплоди я хоть целую библиотеку, ссылки на это не избавили бы меня от угрожающего мне стыда. И стыд этот не наигранный. Я не скептик, иной раз позволяющий себе роскошь совершить трогательный ритуал. Я не горожанин, который, попав в деревню, разыгрывает из себя сельского жителя. Я полетел в разведку над Аррасом за новым доказательством того, что я веду честную игру. Я рисковал своей плотью. Всей своей плотью. И шансов на выигрыш у меня не было. Я отдал все, что мог, ради соблюдения правил этой игры. Чтобы они стали чем-то большим, нежели правилами игры. Я заслужил право сконфузиться, когда майор начнет меня расспрашивать. То есть право участвовать. Право быть связанным. Приобщиться. Получать и давать. Право быть чем-то большим, нежели я сам. Отдаться переполняющему меня чувству. Любить товарищей любовью, которая не похожа на порыв, налетевший извне, и которая не ищет излишних — никогда, — разве что в часы прощальных трапез. В такие часы мы бываем немного под хмельком и в благодушном опьянении склоняемся к сотрапезникам, словно дерево, отягощенное плодами. Моя любовь к авиагруппе не нуждается во внешних проявлениях. Она состоит только из связей. Она — сама моя сущность. Я неотделим от группы. И все.

Когда я думаю о своей группе, я не могу не думать об Ошедэ. Я мог бы рассказать о его боевой отваге, но я показался бы смешным самому себе. Дело тут не в отваге, Ошедэ целиком отдал себя войне. Вероятно, в большей мере, чем любой из нас. Ошедэ неизменно пребывает в том состоянии духа, которого я добивался с таким трудом. Снаряжаясь в полет, я ругался. Ошедэ не ругается. Ошедэ пришел к тому, к чему мы только стремимся. К чему я хотел бы прийти.

Ошедэ — бывший сержант, недавно произведенный в младшие лейтенанты. Разумеется, образования ему не хватает. Сам он никак не мог бы объяснить себя. Но он сложен, он целен. Когда речь идет об Ошедэ, слово «долг» теряет всякую напыщенность. Каждый хотел бы так исполнять свой долг, как его исполняет Ошедэ. Думая об Ошедэ, я корю себя за свою нерадивость, лень, небрежность и прежде всего за минуты неверия. И дело тут не в моей добродетели: просто я по-хорошему завидую Ошедэ. Я хотел бы существовать в той же мере, в какой существует Ошедэ. Прекрасно дерево, уходящее своими корнями глубоко в почву. Прекрасна стойкость Ошедэ. В Ошедэ нельзя обмануться.

Поэтому я не стану распространяться о боевых вылетах Ошедэ. Вылетал ли он добровольно? Мы все и всегда добровольно летим на любое задание. Но нами движет неосознанная потребность верить в себя. И тут мы себя чуточку пересиливаем. А для Ошедэ быть добровольцем совершенно естественно. Он и есть сама эта война. Это так естественно, что, когда речь идет о тяжелом задании, майор Алиас прежде всего вспоминает об Ошедэ: «Послушайте, Ошедэ...» Для Ошедэ война все равно что для монаха его религия. За что он

сражается? Он сражается за себя. Он неотделим от некой сущности, которая воплощена в нем самом и которую нужно спасти. Тут границы между жизнью и смертью почти сливаются. Для Ошедэ они уже слились. Быть может, сам того не ведая, он не боится смерти. Жить самому; умирая, спасать жизнь других... Для Ошедэ жизнь и смерть не исключают друг друга.

Больше всего меня поразило, как он переполошился, когда однажды Гавуаль попросил его одолжить хронометр для измерения скорости с земли.

— Нет, господин лейтенант... не могу...

— Чудак! Мне же на десять минут! Только отрегулировать!

— Господин лейтенант... хронометр есть на складе.

— Ну, есть. Так ведь он уж полтора месяца как застрял на двух часах семи минутах!

— Господин лейтенант... такую вещь, как хронометр, не одалживают... я не обязан одалживать свой хронометр... этого вы не можете от меня требовать!

Когда горящий самолет Ошедэ приземляется на аэродроме, а сам он каким-то чудом остается невредим, военная дисциплина и уважение к начальнику могут заставить его тут же сесть в другой самолет и полететь на другое задание, на этот раз, может быть, гибельное... но он не обязан отдавать в небрежные руки свой роскошный хронометр, за который заплатил свое трехмесячное жалованье и который он каждый вечер заводит поистине с материнской заботливостью. Достаточно взглянуть на то, как человек обращается с вещью, и сразу поймешь, что он ничего в ней не смыслит.

И когда Ошедэ, отстояв свои права и еще пылая от возмущения, победителем вышел из штаба, прижимая к груди свой хронометр, я готов был расцеловать Ошедэ. Мне открылись сокровища его души. Он будет бороться за свой хронометр. Его хронометр существует. И он умрет за свою страну. Его страна существует. И существует Ошедэ, неразрывно связанный с ними. Он соткан из своих бесчисленных связей с миром.

Вот почему я люблю Ошедэ, не испытывая потребности говорить ему об этом. Я потерял Гийоме, лучшего моего друга, — он погиб в полете, — и о нем я тоже избегаю говорить. Мы летали на одних и тех же линиях, мы вместе участвовали в их прокладке. У нас была единая сущность. Я чувствую, что вместе с ним умерла и какая-то часть меня. В безмолвии Гийоме всегда со мной. Я неотделим от Гийоме.

Я неотделим от Гийоме, неотделим от Гавуаля, от Ошедэ. Я неотделим от группы 2/33. Неотделим от моей родины. И все мы из группы 2/33 неотделимы от нее...



Как я изменился! В эти последние дни, майор Алиас, мне было горько. В эти дни, когда бронированное нашествие встречало на своем пути только пустоту, безнадежные задания стоили нашей группе семнадцать из двадцати трех экипажей. И мне казалось, что мы вслед за вами согласились быть статистами и изображать убитых в каком-то представлении. Да, майор Алиас, мне было горько, и я был не прав!

Все мы вслед за вами судорожно хватались за букву долга, суть которого уже померкла. Вы инстинктивно требовали от нас не победы — она была невозможна, — а утверждения нашей сущности. Вы, так же как и мы, знали, что добытые нами сведения никому не будут переданы. Но вы спасали обряды, лишённые всякого смысла. Вы серьезно расспрашивали нас, — как будто наши ответы могли на что-то пригодиться, — о танковых парках, о баржах, о грузовых машинах, о станциях, о поездах на станциях. Иногда вы даже возмущали меня своим недоверием.

— Нет! Нет! С места пилота вполне можно вести наблюдение.

И все-таки, майор Алиас, вы были правы.

Летя над Аррасом, я принял на себя ответственность за толпу, которая была подо мной. Я связан лишь с тем, кому я даю. Я понимаю лишь тех, с кем я связан неразрывными узами. Я существую лишь в той мере, в какой меня питают мои корни. Я неотделим от этой толпы. Эта толпа неотделима от меня. На скорости пятьсот тридцать километров в час и на высоте двести метров, теперь, когда я спустился под свое облако, я сочетаюсь с ней в этом вечернем сумраке, как пастух, который одним взглядом пересчитывает, собирает и объединяет стадо. Эта толпа уже не толпа; она — народ. Разве могу я отчаиваться?

Несмотря на гниль поражения, меня, словно я приобщился какого-то таинства, переполняет праздничное ликование. Я погружен в хаос разгрома, и все-таки я чувствую себя победителем. Кто из моих товарищей, возвращаясь с задания, не чувствует себя победителем? Капитан Пенико рассказал мне о своем утреннем полете:

«Когда мне казалось, что какая-нибудь зенитка слишком хорошо ко мне пристрелялась, я пикировал прямо на нее и на полной скорости, с бреющего полета, давал по ней пулеметную очередь, которая разом тушила этот красноватый огонь, как порыв ветра тушит свечу. Через десятую долю секунды я вихрем пронесся над орудийным расчетом. Пушка словно взрывалась! Люди разбежались во все стороны и, спотыкаясь, падали на землю. Я точно в кегли играл». И Пенико смеялся. Пенико торжествующе смеялся. Пенико — капитан-победитель!

Я знаю: боевое задание преобразило даже того стрелка из экипажа Гавуаля, который, оказавшись ночью внутри собора, воздвигнутого восьмьюдесятью прожекторами, прошел под сводом из их лучей, как солдат на свадьбе проходит под скрещенными шпагами.

— Можете взять курс девяносто четыре.

Дютертр только что сориентировался по Сене. Я снизился до ста метров. Земля со скоростью пятьсот тридцать километров в час катит на нас большие прямоугольники люцерны или пшеницы и треугольные леса. Я испытываю физическое удовольствие, следя за тем, как нос моего самолета неустанно рассекает их, словно плывущие льдины. Внизу появляется Сена. Когда я пролетаю над ней под углом, она отступает, будто поворачиваясь на своей оси. Это движение доставляет мне такое же удовольствие, как плавный взмах косы,

срезающей траву. Сидеть мне удобно. Я хозяин на борту своей машины. Баки целы. Я сыграю в покер с Пенико, выиграю у него рюмку коньяка, потом объявлю мат Лакордэру. Вот я какой, когда я победитель.

— Капитан... стреляют... мы в запретной зоне...

Курс вычисляет он. Я тут ни при чем.

— Здорово стреляют?

— Стреляют вовсю...

— Повернем?

— Ну, нет...

Тон у него пренебрежительный. Мы знаем, что такое потоп. Огонь наших зениток — просто весенний дождик.

— Дютертр... послушайте... глупо же, если нас собьют свои!

— ...не собьют... пусть поупражняются.

Дютертр язвит.

А у меня нет охоты язвить. Я счастлив. Мне приятно поговорить со своими.

— Да уж... стреляют, как...

Он, оказывается, жив, наш стрелок! Я заметил, что по собственной инициативе он еще ни разу не заявлял о своем существовании. Он переварил все приключения молча, не испытывая потребности общаться с нами. Впрочем, один раз он, кажется, произнес: «Ну и ну!» — в самый разгар обстрела. Во всяком случае, потока излияний не было.

Но сейчас дело коснулось его специальности: пулемета. А когда дело коснется их специальности, тут уж специалистов не удержать.

Я невольно противопоставляю эти два мира. Мир самолета и мир земли. Я только что увлек Дютертра и моего стрелка за дозволенные пределы. Мы видели пылающую Францию. Мы видели сверкающее море. Мы состарились на большой высоте. Мы склонялись над далекой землей, словно над музейной витриной. Мы играли на солнце с пылинками вражеских истребителей. Потом мы опять снизились. Мы бросились в костер. Мы жертвовали всем. И там мы узнали о самих себе больше, чем узнали бы за десять лет размышлений. Наконец мы вышли из этого десятилетнего отшельничества.

А караван беженцев, который мы, быть может, уже видели, когда летели к Аррасу, продвинулся самое большее метров на пятьсот.

За то время, что они будут оттаскивать в кювет поломанный автомобиль, менять колесо или просто сидеть и барабанить пальцами по баранке в ожидании, пока перекресток освободят от разбитых машин, мы уже успеем вернуться на базу.

Мы перешагнули через все поражение. Мы похожи на паломников, которые легко переносят мучения в пустыне, потому что сердцем они уже в священном граде.

Наступающая ночь соберет эту беспорядочную толпу под свой горестный кров. Стадо сбивается в кучу. Кого им молить о помощи? А нам даровано счастье спешить к товарищам, и мне кажется, что мы торопимся на праздник. Так простая хижина, если огонек ее светит нам издалека, превращает самую суровую зимнюю ночь в веселый сочельник. Там, куда мы летим, нас ждет радушный прием. Там, куда мы летим, мы причастимся вечерней трапезы.

На сегодня довольно приключений: я счастлив и утомлен. Я оставлю на попечение механиков свой самолет, обогатившийся новыми пробоинами. Я сброшу с себя тяжелый летный комбинезон, и, так как сыграть с Пенико на рюмку коньяка будет уже слишком поздно, я просто сяду за ужин вместе с товарищами...

Мы опаздываем. Товарищи, которые опаздывают, обычно не возвращаются. Они задержались? Нет, уже слишком поздно. Что поделаешь! Ночь сталкивает их в вечность. За ужином группа подсчитывает свои потери.

В воспоминаниях не вернувшиеся становятся еще милее. Они всегда улыбаются самой светлой улыбкой. Мы откажемся от этого преимущества. Мы явимся без спроса, как злые демоны или браконьеры. Майор не успеет положить в рот кусок хлеба. Он посмотрит на нас. Возможно, он скажет: «А!.. Вот и вы...» Товарищи будут молчать. Они едва на нас взглянут.

Прежде я не питал особого почтения к взрослым. И напрасно. Человек никогда не стареет. Майор Алиас! В час возвращения и взрослые чисты, как дети: «А вот и ты, наш товарищ...» И целомудрие заставляет молчать.

Майор Алиас, майор Алиас... этим единением со всеми вами я наслаждался, как слепой наслаждается огнем. Слепой садится и протягивает руки, но он не знает, что доставляет ему такую радость. С боевого задания мы возвращаемся готовые к неведомой награде, которая есть не что иное, как любовь.

Мы не узнаем в ней любви. Любовь, которую мы обычно себе представляем, выражается более бурно. Но тут речь идет о настоящей любви: о сети связей, которые делают тебя человеком.

Я спросил моего фермера, сколько у меня в машине приборов. И фермер ответил:

— Я ничего не смыслю в вашем хозяйстве. А насчет приборов, надо думать, что каких-то у вас все-таки не хватает, тех, с которыми мы выиграли бы войну... Поужинаете с нами?

— Я уже ужинал.

Но меня насильно усадили между племянницей и хозяйкой.

— А ну-ка, племянница, подвинься чуточку... Дай место капитану.

Оказывается, я связан не только со своими товарищами. Через них я связан со всей сваяей страной. Любовь, если уж она дала росток, пускает корни все глубже и глубже.

Фермер молча режет хлеб. Дневные заботы придали ему суровую, благородную важность. И, словно совершая священный обряд, он делит этот хлеб, быть может, в последний раз.

А я думаю об окрестных полях, которые взрастили зерно для этого хлеба. Завтра тут будет враг. Напрасно стали бы мы ждать лавины вооруженных людей! Земля велика. И нашествие, может быть, выразится здесь всего лишь в появлении одинокого часового, затерянного где-то в бескрайней дали — этого серого пятнышка на меже пшеничного поля. Внешне ничего не изменится, но для человека достаточно и одного значка, чтобы все стало иным.

Порыв ветра, бегущего по ниве, всегда напоминает порыв ветра на море. Но если нам кажется, что на ниве он оставляет более заметный след, то это потому, что, перебирая колосья, ветер словно ведет учет нашему достоянию. Словно убеждается в надежности будущего. Так ласкают жену, спокойно проводя рукой по ее волосам.

А завтра эта пшеница станет иной. Пшеница — это нечто большее, чем телесная пища. Питать человека не то, что откармливать скотину. Хлеб выполняет столько назначений! Хлеб стал для нас средством единения людей, потому что люди преломляют его за общей трапезой. Хлеб стал для нас символом величия труда, потому что добывается он в поте лица. Хлеб стал для нас непременным спутником сострадания, потому что его раздают в минуту бедствий. Вкус разделенного хлеба не сравним ни с чем. И вот теперь вся сила духовной пищи, духовного хлеба, который будет рожден этим полем, находится под угрозой. Завтра мой фермер, преломляя хлеб, быть может, уже не будет служить той же домашней религии. Завтра, быть может, этот хлеб уже не затеплит тот же свет в глазах его близких. Ведь хлеб это то же, что масло в светильнике. Оно также претворяется в свет.

Я смотрю на племянницу — она очень красива — и думаю: хлеб, питая ее, становится грустным очарованием. Он становится целомудрием. Он становится сладостью молчания. И вот из-за одного только серого пятнышка на краю океана пшеницы этот самый хлеб, даже если он и будет завтра питать тот же светильник, быть может, уже не даст того же самого пламени. Главное в силе хлеба изменится.

Я сражался за то, чтобы спасти прежде всего этот особый свет, а потом уже пищу телесную. Я сражался ради того особенного сияния, которым становится хлеб в домах моей родины. В этой загадочной девочке более всего меня волнует одухотворенность ее облика. Какая-то неуловимая гармония черт ее лица. Поэма, запечатленная на странице, а не сама страница.

Она почувствовала, что за ней наблюдают. Она подняла на меня глаза. Кажется, она мне

улыбнулась... Это было подобно дуновению нахрупкой глади вод. Ее улыбка трогает меня. Я ощущаю присутствие какой-то неповторимой души, таинственно пребывающей только здесь и нигде больше. Я наслаждаюсь покоем и думаю: «Вот он, покой царства безмолвия...»

Я видел сияющий свет пшеницы.

Лицо племянницы вновь стало подобно глубине, скрывающей тайну. Фермерша вздыхает, смотрит по сторонам и молчит. Фермер, поглощенный думами о грядущем дне, замыкается в своих мыслях. И за молчанием этих людей скрывается внутреннее богатство, подобно достоянию их деревни, — и над ним тоже нависла угроза.

И я с поразительной ясностью сознаю свою ответственность за эти незримые сокровища. Я выхожу из дома. Иду не спеша. Я уношу с собой это бремя, и оно не тягостно мне, а мило, словно на руках у меня спящий ребенок, прижавшийся к моей груди.

Я ждал этого разговора с моей деревней. И вот теперь мне нечего сказать. Я словно плод, тесно связанный с деревом, о котором я думал несколько часов назад, когда ко мне вернулось спокойствие. Я просто чувствую себя неотделимым от своих. Я неотделим от них, как они неотделимы от меня. Когда мой фермер раздавал хлеб, он ничего от себя не отрывал. Он делил и обменивал. Нас питала одна и та же пшеница. Фермер ничего не терял. Он становился богаче, ибо лучше стал его хлеб, превращенный в хлеб общей трапезы. Когда сегодня днем я ради этих людей вылетел на боевое задание, я тоже ничего им не отдал. Мы, летчики нашей группы, ничего им не отдаем. Мы — то, чем они жертвуют на войне. Я понимаю, почему Ошедэ воюет без громких слов, подобно тому как деревенский кузнец работает для своих односельчан. «Вы кто?» — «Я здешний кузнец». Кузнец трудится, и он счастлив.

И если я полон надежды, в то время как они, по-видимому, отчаялись, я все-таки ничем не отличаюсь от них. Я просто воплощаю их долю надежды. Конечно, мы уже побеждены. Все шатко. Все рушится. Но меня не покидает спокойствие победителя. В моих словах противоречие? Плевать мне на слова! Я такой же, как Пенико, Ошедэ, Алиас, Гавуаль. Мы не в состоянии объяснить, откуда взялось это ощущение победы. Но мы чувствуем свою ответственность. Невозможно, чувствуя ответственность, приходиться в отчаяние.

Поражение... Победа... Я плохо разбираюсь в этих формулах. Есть победы, которые наполняют воодушевлением, есть и другие, которые принижают. Одни поражения несут гибель, другие — пробуждают к жизни. Жизнь проявляется не в состояниях, а в действиях. Единственная победа, которая не вызывает у меня сомнений, это победа, заложенная в силе зерна. Зерно, брошенное в чернозем, уже одержало победу. Но должно пройти время, чтобы наступил час его торжества в созревшей пшенице.

Сегодня утром мы видели только разбитую армию и беспорядочную толпу. Но беспорядочная толпа, если есть в ней хотя бы один человек, в чьем сознании она уже объединена, перестает быть беспорядочной толпой. Камни на стройке кажутся беспорядочной грудой лишь с виду, если где-то на стройке затерян хотя бы один человек, который представляет себе будущий собор. Я спокоен, если под разбросанным удобрением укрыто зерно. Зерно впитает его соки и произрастет.

Тот, кто возвысился до созерцания, становится зерном. Тот, кому открывается некая истина, тащит другого за рукав, чтобы посвятить в эту истину и его. Тот, кто сделал изобретение, спешит рассказать о нем людям. Я не знаю, как станет выражать себя человек, подобный Ошедэ, как он будет действовать. Но для меня это и неважно. Он передаст

окружающим свою спокойную веру.

Теперь я лучше постигаю, в чем смысл победы: тот, кто подыскивает себе место ризничего или привратницы в будущем соборе, — уже побежден. Тот же, кто носит в своем сердце образ будущего собора, — уже победитель. Победа есть плод любви. Только любви открываются контуры еще не изваянной статуи. Только любовь направляет резец ее творца. Разум обретает ценность лишь тогда, когда он служит любви.

Скульптор несет в себе груз будущего творения. Пусть он даже еще не знает, как он будет его лепить. От одного нажима пальцем к другому, от ошибки к ошибке, от противоречия к противоречию он неуклонно пойдет через бесформенную глину к своему творению. Ни разум, ни интеллект не обладают творческой силой. Оттого что у скульптора есть знания и интеллект, руки его еще не становятся гениальными.

Мы слишком долго обманывались относительно роли интеллекта. Мы пренебрегали сущностью человека. Мы полагали, что хитрые махинации низких душ могут содействовать торжеству благородного дела, что ловкий эгоизм может подвигнуть на самопожертвование, что черствость сердца и пустая болтовня могут основать братство и любовь. Мы пренебрегали Сущностью. Зерно кедрового дерева так или иначе превратится в кедр. Зерно терновника превратится в терновник. Отныне я отказываюсь судить людей по доводам, оправдывающим их решения. Слишком легко ошибиться в правдивости слов, равно как и в истинной цели поступков. Человек направляется к своему дому: я не знаю, что он несет туда

— ссору или любовь. Я должен спросить себя: «Что это за человек?» Только тогда мне станет ясно, к чему он тяготеет и куда идет. Каждый в конце концов приходит к тому, к чему тяготеет.

Росток, согретый солнцем, всегда найдет дорогу сквозь каменистую почву. Чистый логик, если никакое солнце не тянет его к себе, увязает в пуганице проблем. Я всегда буду помнить урок, преподанный мне врагом. В каком направлении должна двигаться танковая колонна, чтобы захватить тылы противника? Неизвестно. Чем должна быть танковая колонна? Она должна быть морем, напирющим на дамбу.

Что нужно делать? Вот это. Или нечто совершенно противоположное. Или еще что-то. Никакого предопределения не существует. Чем нужно быть? Вот основной вопрос, потому что только дух оплодотворяет разум. Дух бросает в него семя грядущего творения. Разум завершит все остальное. Что должен сделать человек, чтобы построить первый корабль? Ответ на этот вопрос был бы чересчур сложным. Корабль рождается из тысячи противоречивых попыток. Но кем должен быть его творец? Тут я подхожу к самым истокам созидания. Его творец должен быть купцом или солдатом, потому что тогда из любви к далеким странствиям он неизбежно воодушевит механиков, соберет рабочих и в один прекрасный день пустит свой корабль в море! Что надо сделать, чтобы улетучился целый лес? О, это слишком уж трудно... Чем для этого нужно быть? Надо быть пожаром!

Завтра мы уйдем в ночь. Только бы моя страна дождалась до той поры, когда снова наступит день! Что нужно сделать, чтобы ее спасти? Как найти простое решение? Оно упирается в противоречие. Необходимо спасти духовное наследие, ибо иначе погибнет дух народа. Необходимо спасти народ, ибо без этого погибнет наследие. Логика, за неимением языка, который примирил бы это противоречие, готовы будут пожертвовать либо душой, либо телом. Мне наплевать на логиков! Я хочу, чтобы моя страна и духом, и плотью своей дождалась до той поры, когда снова наступит день. Чтобы действовать на благо моей родины, я должен каждый миг стремиться к этому всей силой моей любви. Море непременно найдет

себе путь туда, куда устремлен его напор.

Я ни одной минуты не сомневаюсь в спасении. Теперь мне понятнее образ слепца, идущего к огню. Если слепой идет к огню, — значит, у него родилась потребность в огне. Огонь уже управляет им. Если слепой ищет огонь, — значит, он уже нашел его. Скульптор уже создал свое творение, если его тянет к глине. Так же и мы. Нас согревает тепло наших связей — поэтому мы победители.

Наша общность для нас уже ощутима. Чтобы сплотиться в ней, нам, разумеется, предстоит найти для нее словесное выражение. Но это уже потребует усилий сознания и языка. Однако, чтобы сохранить в неприкосновенности основу нашей общности, мы должны быть глухи к шантажу, к полемике, к то и дело меняющимся словесным ловушкам. И прежде всего мы не должны отрекаться от того, что неотделимо от нас.

Вот почему, возвратившись из полета над Аррасом и, как мне кажется, многое за время полета поняв, я стою один в ночной тишине, прислонившись к изгороди, и составляю для себя простейшие правила, которым никогда не изменю.

Раз я неотделим от своих, я никогда от них не отрекусь, что бы они ни совершили. Я никогда не стану обвинять их перед посторонними. Если я смогу взять их под защиту, я буду их защищать. Если они покроют меня позором, я затаю этот позор в своем сердце и промолчу. Что бы я тогда ни думал о них, я никогда не выступлю свидетелем обвинения. Муж не станет ходить из дома в дом и сообщать соседям, что жена его потаскуха. Таким способом он не спасет своей чести. Потому что жена его неотделима от его дома. Позоря ее, себя он не облагородит. И, только вернувшись домой, он вправе дать выход своему гневу.

Вот почему я не снимаю с себя ответственности за поражение, из-за которого не раз буду чувствовать себя униженным. Я неотделим от Франции. Франция воспитала Ренуаров, Паскалей, Пасторов, Гийоме, Ошедэ. Она воспитала также тупиц, политиканов и жуликов. Но мне кажется слишком удобным провозглашать свою солидарность с одними и отрицать всякое родство с другими.

Поражение раскалывает. Поражение разрушает построенное единство. Нам это угрожает смертью: я не буду способствовать такому расколу, сваливая ответственность за разгром на тех из моих соотечественников, которые думают иначе, чем я. Подобные споры без судей ни к чему не ведут. Мы все были побеждены. Я был побежден. Ошедэ был побежден. Ошедэ не сваливает ответственность за поражение на других. Он говорит себе:

«Я, Ошедэ, неотделимый от Франции, был слаб. Франция, неотделимая от меня, Ошедэ, была слаба. Ее слабость была моей слабостью». Ошедэ хорошо знает, что, если он оторвет себя от своих, он прославит только одного себя. Но тогда он перестанет быть Ошедэ, неотделимым от своего дома, от своей семьи, от своей авиагруппы, от своей родины. Он будет всего лишь Ошедэ, блуждающим в пустыне.

Если я разделяю унижение моего дома, я могу повлиять на его судьбу. Он неотделим от меня, как я неотделим от него. Но если я не приму на себя его унижения, мой дом, брошенный на произвол судьбы, погибнет, а я пойду один, покрытый славой, но еще более ненужный, чем мертвец.

Чтобы быть, нужно сначала принять на себя ответственность. Всего несколько часов тому назад я был слеп. Мне было горько. Но теперь я сужу более трезво. Я отказываюсь винить других французов, раз я чувствую себя неотделимым от Франции, и я не понимаю, как Франция может обвинять остальной мир. Каждый несет ответственность за всех. Франция была ответственна за весь мир. Франция могла бы показать миру пример, который

сплотил бы его. Франция могла бы служить связующим звеном для всего мира. Если бы Франция сохранила аромат Франции, сияние Франции, она стала бы для всего мира оплотом сопротивления. Отныне я отказываюсь от своих упреков остальному миру. Если ему не хватало души, его душой должна была стать Франция — таков был ее долг перед самой собой.

Франция могла бы объединить вокруг себя другие страны. Моя группа 2/33 готова была сражаться сперва на стороне Норвегии, потом на стороне Финляндии. Что представляли собой Норвегия и Финляндия для наших солдат, наших унтер-офицеров? Мне всегда казалось, что, сами того не сознавая, они соглашались умереть за какой-то аромат рождественского праздника. Им казалось, что за спасение этого аромата где-то в мире стоит пожертвовать жизнью. Если бы мы были рождеством для всего мира, мир мог бы найти в нас свое спасение.

Мы не сумели воплотить в себе духовную общность людей всего мира. Если бы мы это сделали, мы спасли бы и мир, и самих себя. Мы не осилили этой задачи. Каждый отвечает за всех. Отвечает только каждый в отдельности. Только каждый в отдельности отвечает за всех. Я впервые постигаю одну из тайн религии, породившей духовную культуру, которую я считаю своей: «Принять на себя бремя грехов человеческих...» И каждый принимает на себя бремя всех грехов всех людей.



Можно ли усматривать в этом философию слабости? Настоящий полководец это тот, кто берет на себя всю ответственность. Он говорит: «Я потерпел поражение». Он не говорит: «Мои солдаты потерпели поражение». Настоящий человек говорит именно так. Ошедэ сказал бы: «Я в ответе за все».

Я понимаю, что такое смирение. Оно неравносильно самоунижению. Оно есть самый источник действия. Если, желая оправдать себя, я объясняю свои беды злым роком, я подчиняю себя злему року. Если я приписываю их измене, я подчиняю себя измене. Но если я принимаю всю ответственность на себя, я тем самым отстаиваю свои человеческие возможности. Я могу повлиять на судьбу того, от чего я неотделим. Я — составная часть общности людей.

Итак, во мне есть некто, с кем я борюсь, чтобы расти. И мне понадобился этот трудный полет, чтобы я мог распознать в себе личность, с которой я борюсь, и отделить ее от растущего во мне человека. Не знаю еще, каков он, возникший передо мной образ, но я говорю себе: личность — это всего лишь путь. Человек, избирающий этот путь, — вот главное.

Я больше не могу удовлетворяться полемическими истинами. Зачем обвинять личности? Они только пути и перепутья. Я больше не могу объяснять замерзание пулеметов нерадивостью чиновников, а бездействие союзников — их эгоизмом. Поражение, конечно, проявляется в банкротстве отдельных личностей. Но ведь человека создает духовная культура. И если культуре, к которой я себя причисляю, угрожает опасность из-за несостоятельности личностей, то я вправе спросить себя, почему она не создала их другими.

Сетуя на отсутствие энтузиазма у своих приверженцев, всякая духовная культура, как и всякая религия, изобличает самое себя. Долг ее состоит в том, чтобы воодушевить их. То же самое, если она жалуется на ненависть противников. Ее долг — обратить их в свою веру. А между тем моя культура, которая некогда могла противостоять гонениям, воспламенить своих апостолов, сломить ярость врагов, освободить порабощенные народы, сегодня не сумела ни воодушевить людей, ни обратить их в свою веру. Если я стремлюсь понять, в чем коренятся причины моего поражения, если я хочу и надеюсь возродиться, мне прежде всего нужно вновь обрести источник духовных сил, который я утратил.

Потому что духовную культуру можно сравнить с пшеницей. Пшеница кормит человека. Но и человек, в свою очередь, заботится о пшенице, ссылая в амбары зерно. И запасы зерна сберегаются, как наследие, от одного урожая к другому.

Недостаточно знать, какой сорт зерна я хочу вырастить, чтобы взошел именно этот сорт. Если я озабочен тем, чтобы спасти определенный тип человека — и его возможности, — я должен спасти принципы, которые его формируют.

Но если я сохранил образ моей духовной культуры, то я уже не вижу устоев, на которых она строилась. Сегодня я вдруг обнаруживаю, что слова, которыми я пользовался до сих пор, уже не выражают главного. Так, я проповедовал Демократию, не подозревая, что тем самым вовсе не предписывал людям свод непреложных нравственных законов, а лишь высказывал благие пожелания. Я хотел, чтобы люди были братьями, свободными и счастливыми. Разумеется. Кто же с этим не согласится? Я мог сказать, каким должен быть человек. А не кем он должен быть.

Я говорил, не уточняя значения слов, о человеческой общности. Как будто духовная атмосфера, которую я имел в виду, не была порождением особой ее структуры. Мне казалось, что речь идет о естественной очевидности. Но естественной очевидности не существует. Фашистская армия или невольничий рынок это тоже некая человеческая общность.

Я жил в человеческой общности уже не в качестве ее строителя. Я пользовался благами царящего в ней мира, ее терпимостью, ее благоденствием. Я ничего не знал о ней, кроме того, что я — ее обитатель. Я жил в ней, как ризничий или как привратница. Стало быть, как паразит. Стало быть, как побежденный.

Таковы пассажиры корабля. Они пользуются кораблем, но ничего ему не дают. Удобно расположившись в салонах, за пределами которых их ничто не интересует, они проводят там свой досуг. Им неведома тяжелая работа шпангоутов, сдерживающих вечный напор воды. Вправе ли они жаловаться, если буря разнесет их корабль в щепы?

Если личность выродилась, если я побежден, на что мне жаловаться?

Есть некая общая мера качеств, которыми я хотел бы наделить людей моей духовной культуры. Есть краеугольный камень той особой общности, которую они должны основать. Есть начало, от которого некогда пошло все: и корни, и ствол, и ветви, и плоды. Что же это за начало? Начало это — могучее зерно, брошенное в чернозем, на котором произрастают люди. Только оно может сделать меня победителем.

Мне кажется, я многое понял за эту мою необыкновенную ночь в деревне. Вокруг меня какая-то необычайная тишина. Малейший звук, словно звон колокола, наполняет пространство. Все стало для меня таким близким. И это жалобное блеяние овец, и тот далекий зов, и скрип притворенной кем-то двери. Словно все происходит во мне самом. Я должен немедленно постичь смысл этого чувства, пока оно не исчезло...

Я говорю себе: «Все это обстрел над Аррасом...» Его снаряды пробили какую-то оболочку. Очевидно, в течение всего этого дня я готовил в себе жилище для Человека. Я был всего лишь ворчливым управляющим. Всего лишь личностью. Но вот явился Человек. Он попросту занял мое место. Он посмотрел на беспорядочную толпу, и он увидел народ. Свой народ. Человек — общая мера для этого народа и для меня. Вот почему, когда я возвращался в авиагруппу, мне казалось, что меня влечет тепло большого костра. Моими глазами смотрел Человек — Человек, общая мера для всех моих товарищей.

Уж не знамение ли это? Я почти готов поверить в знамения... Все этой ночью словно вступило в безмолвный сговор. Каждый звук доходит до меня, будто призыв, одновременно и ясный и непонятный. Я слушаю, как ночь наполняют чьи-то спокойные шаги.

— Э-эй! Добрый вечер, капитан!

— Добрый вечер!

Я не знаю его. Так окликают друг друга два лодочника, встретившиеся на реке.

Еще раз я ощутил это загадочное родство. Человек, живущий во мне сегодня, не перестает опознавать своих. Человек — общая мера для всех народов и рас...

Тот, кто окликнул меня, возвращался домой со своим запасом забот, мыслей и образов. Со своим собственным, скрытым в его душе грузом. Я мог бы подойти к нему и заговорить. На белизне деревенской дороги мы обменялись бы какими-нибудь воспоминаниями. Так обмениваются сокровищами купцы, когда встречаются на пути с далеких островов.

Если из людей моей духовной культуры кто-то мыслит иначе, чем я, он не только не оскорбляет меня этим, но, напротив, обогащает меня. Основа нашего единства — Человек,

который выше каждого из нас. И потому наши споры по вечерам в группе 2/33 не только не вредят нашему братству, но, напротив, укрепляют его: ведь никому из нас не интересно слушать собственное эхо или смотреть на свое отражение в зеркале.

Точно так же узнают себя в Человеке и французы Франции, и норвежцы Норвегии. Человек связывает их в своем единстве и в то же время, не вступая в противоречие с собой, помогает расцвету того неповторимого, что присуще каждому из этих народов. Дерево тоже проявляет себя в ветвях, не похожих на корни. И если в Норвегии пишут сказки про снег, если в Голландии выращивают тюльпаны, если в Испании импровизируют фламенко, все это обогащает Человека, живущего в каждом из нас. Поэтому, быть может, мы, летчики группы 2/33, хотели сражаться за Норвегию...

И вот теперь мне кажется, что я подхожу к концу долгого странствия. Я не открываю ничего нового, но, словно очнувшись ото сна, заново вижу все то, на что уже давно перестал смотреть.

Моя духовная культура основана на культе Человека в отдельной личности. Веками она стремилась показать Человека, подобно тому как она учила бы видеть собор в гряде камней. Она проповедовала Человека, который превосходит отдельную личность...

Потому что Человек моей духовной культуры не определяется отдельными людьми. Напротив, люди определяются им. В нем, как и в любой Сущности, есть нечто такое, чего не могут объяснить составляющие ее элементы. Собор есть нечто совсем иное, нежели просто нагромождение камней. Собор — это геометрия и архитектура. Не камни определяют собор, а, напротив, собор обогащает камни своим особым смыслом. Его камни облагорожены тем, что они — камни собора. Самые разнообразные камни служат его единству. Даже уродливые каменные чудовища и те участвуют в общем гимне собора.

Но мало-помалу я забыл мою истину. Я стал считать, что Человек есть сумма людей, подобно тому как Камень есть сумма камней. Я отождествил собор с простым нагромождением камней, и мало-помалу наследие моей духовной культуры исчезло. Нужно восстановить Человека. Он — суть моей культуры. Он — основа моей Общности. Он — источник моей победы.

Легко основать порядок в обществе, подчинив каждого его члена незыблемым правилам. Легко воспитать слепца, который, не протестуя, подчинялся бы поводырю или Корану. Насколько же труднее освободить человека, научив его властвовать над собой.

Что значит освободить? Если в пустыне я освобожу человека, который никуда не стремится, чего будет стоить его свобода? Свобода существует лишь для кого-то, кто куда-то стремится. Освободить человека в пустыне — значит возбудить в нем жажду и указать ему путь к колодезю. Только тогда его действия обретут смысл. Бессмысленно освобождать камень, если не существует силы тяжести. Потому что освобожденный камень не сдвинется с места.

Моя духовная культура стремилась положить в основу человеческих отношений культ Человека, стоящего выше отдельной личности, чтобы поведение каждого по отношению к самому себе и другим не было слепым подчинением законам муравейника, а стало свободным проявлением любви. Незримый путь, начертанный силою тяжести, освобождает камень. Незримые силы любви освобождают человека. Моя духовная культура стремилась сделать из каждого человека Посланца одного и того же владыки. Она рассматривала личность как путь или проявление воли того, кто выше ее; она предоставляла ей свободу восхождения туда, куда влекли ее силы притяжения.

Я знаю, откуда произошло это силовое поле. Веками моя духовная культура сквозь людей созерцала Бога. Человек был создан по образу и подобию божью. И в человеке почитали Бога. Люди были братьями в Боге. Этот отблеск Бога сообщал каждому человеку неотъемлемое достоинство. Отношение человека к Богу ясно определяло долг каждого перед самим собой и перед другими людьми.

Моя духовная культура — наследница христианских ценностей. Чтобы постичь архитектуру собора, надо задуматься над тем, как он построен.

Созерцание Бога служило основой равенства людей в силу их равенства в Боге. И смысл этого равенства был ясен. Потому что равными можно быть только в чем-то. Солдат и командир равны в своем народе. Равенство становится пустым звуком, если нет ничего, что связывало бы это равенство.

Я понимаю, почему равенство, которое было равенством прав Бога, выраженных в личностях, запрещало ограничивать восхождение отдельной личности: ведь Бог мог избрать ее в качестве своего пути. Но так как речь шла также о равенстве прав Бога на личность, мне понятно, почему личности, каковы бы они ни были, выполняли одни и те же обязанности и подчинялись одним и тем же законам. Выражая Бога, они были равны в своих правах. Служа Богу, они были равны в своих обязанностях.

Я понимаю, почему равенство в Боге не влекло за собой ни противоречий, ни беспорядка. Демагогия возникает тогда, когда, за отсутствием общей меры, принцип равенства вырождается в принцип тождества. Тогда солдат отказывается отдавать честь командиру, потому что честь, отдаваемая командиру, означала бы почитание личности, а не Нации.

Моя духовная культура, наследуя Богу, основала равенство людей в Человеке.

Я понимаю, откуда происходит уважение людей друг к другу. Ученый должен был уважать грузчика, потому что в этом грузчике он почитал Бога, чьим Посланцем грузчик

являлся наравне с ним. Каковы бы ни были ценность одного и посредственность другого, ни один человек не имел морального права обратить другого в рабство: ведь Посланца унижать нельзя. Но это уважение к человеку не приводило к раболепному пресмыкательству перед посредственностью, перед глупостью и невежеством, потому что в человеке уважалось прежде всего достоинство Посланца Бога. Так Любовь к Богу создавала основу возвышенных отношений между людьми, поскольку дела велись между Посланцами независимо от достоинств личности.

Моя духовная культура, наследуя Богу, создала уважение к человеку независимо от его личности.

Я понимаю происхождение братства между людьми. Люди были братьями в Боге. Братьями можно быть только в чем-то. Если нет узла, связывающего людей воедино, они будут поставлены рядом друг с другом, а не связаны между собой. Нельзя быть просто братьями. Мои товарищи и я — братья в группе 2/33. Французы — братья во Франции.

Моя духовная культура, наследуя Богу, основала братство людей в Человеке.

Я понимаю значение любви к ближнему, которой меня учили. Любовь к ближнему была служением Богу через личность. Она была данью, воздаваемой Богу, сколь бы посредственна ни была личность. Эта любовь не унижала того, к кому она была обращена, она не сковывала его цепями благодарности, потому что этот дар приносился не ему, а Богу. Именно поэтому такая любовь никогда не превращалась в почесть, воздаваемую посредственности, глупости или невежеству. Долг врача состоял в том, чтобы, рискуя жизнью, лечить зачумленного, кем бы он ни был. Врач служил Богу. Его не унижала бессонная ночь, проведенная у изголовья мошенника.

Моя духовная культура, наследуя Богу, превратила любовь к ближнему в дар Человеку, приносимый через личность.

Я понимаю глубокий смысл Смирения, которого требовали от личности. Смирение не принижало личность. Оно возвышало ее. Оно раскрывало личности ее роль Посланца. Требуя от нее почитания Бога через ближнего, оно в то же время требовало, чтобы она почитала его в самой себе, сознавая себя вестником Бога, идущим по пути, начертанному Богом. Смирение предписывало ей забывать о себе, тем самым возвышая себя, ибо если личность станет преувеличивать свое собственное значение, путь ее сразу же упрется в стену.

Моя духовная культура, наследуя Богу, проповедовала также уважение к самому себе, то есть уважение к Человеку через самого себя.

Я понимаю, наконец, почему любовь к Богу возложила на людей ответственность друга за друга и предписала им Надежду как добродетель. Ведь каждого человека она превращала в Посланца того же самого Бога, в руки каждого отдавала спасение всех. И никто не имел права отчаиваться, потому что каждый был вестником кого-то более великого, чем он сам. Отчаяние было равносильно отрицанию Бога в самом себе. Долг Надежды можно было бы выразить так: «Значит, ты придаешь себе такое огромное значение? Сколько же самодовольства в твоём отчаянии!»

Моя духовная культура, наследуя Богу, сделала каждого ответственным за всех людей и всех людей — ответственными за каждого. Личность должна жертвовать собой ради спасения коллектива, но дело тут не в элементарной арифметике. Все дело в уважении к Человеку через личность. Да, величие моей духовной культуры в том, что сто шахтеров будут рисковать жизнью ради спасения одного засыпанного в шахте товарища. Ибо они спасают

Человека.

В свете всего сказанного я понимаю, что значит свобода. Это свобода дерева расти в силовом поле своего зерна. Она — совокупность условий восхождения Человека. Она подобна попутному ветру. Только благодаря ветру свободен парусник в открытом море.

Человек, воспитанный в этих правилах, обладал бы силой могучего дерева. Какое пространство мог бы он охватить своими корнями! Какие человеческие достоинства мог бы он в себя вобрать, чтобы они расцвели на солнце!

Но я все испортил. Я расточил наследие. Я позволил предать забвению понятие Человека.

Однако, чтобы спасти этот культ Владыки, созерцаемого через отдельные личности, и благородство человеческих отношений, основанных на этом культе, моя духовная культура затратила немало сил и творческого вдохновения. Все усилия Гуманизма были направлены к этой цели. Гуманизм избрал своей исключительной миссией объяснить и упрочить превосходство Человека над личностью. Гуманизм проповедовал Человека.

Но когда речь заходит о Человеке, наш язык становится недостаточным. Человек — это нечто иное, чем люди. О соборе нельзя сказать ничего существенного, если говорить только о камнях. О Человеке нельзя сказать ничего существенного, если пытаться определить его только свойствами людей. Поэтому Гуманизм заведомо шел по пути, который заводил его в тупик. Гуманизм пытался вывести понятие Человека с помощью логических и моральных аргументов и таким образом перенести его в сознание людей.

Никакое словесное объяснение никогда не заменит созерцания. Единство Сущности нельзя передать словами. Если бы я захотел пробудить любовь к родине или к имени у людей, чьей духовной культуре такая любовь была бы неведома, я не располагал бы никакими доводами, чтобы тронуть их сердца. Имение — это поля, пастбища и стада. Назначение каждой из этих частей и всех их вместе — приносить богатство. Однако всякому имени присуще нечто такое, что ускользает при рассмотрении составляющих его элементов: ведь иные землевладельцы готовы разориться, лишь бы спасти любимое имение. Это нечто как раз и облагораживает составные элементы имения, наделяя их совсем особыми свойствами. И вот они становятся стадами этого имения, лугами этого имения, полями этого имения...

Так и человек становится человеком своей родины, своего ремесла, своей духовной культуры, своей религии. Но чтобы утверждать, что ты неотделим от таких Сущностей, надо сначала создать их в самом себе. Тому, у кого нет чувства родины, нельзя внушить его никаким языком. Создать в себе Сущность, которую ты называешь своей, можно только при помощи действий. Сущность принадлежит не к области языка, а к области действия. Наш Гуманизм пренебрегал действиями. Его попытки потерпели неудачу.

Самое сложное действие получило название. И название это — жертва.

Жертва не означает ни безвозвратного отчуждения чего-то своего, ни искупления. Прежде всего это действие. Это отдача себя Сущности, от которой ты считаешь себя неотделимым. Только тот поймет, что такое имение, кто пожертвует ему частью себя, кто будет бороться ради его спасения и трудиться, чтобы сделать его лучше. Тогда он обретает любовь к имени. Имение это не сумма доходов — думать так было бы ошибкой. Оно — сумма принесенных даров.

Пока моя духовная культура опиралась на Бога, она могла спасти это понятие жертвы, которое создавало Бога в сердце человека. Гуманизм пренебрегает важнейшей ролью жертвы. Он вознамерился сберечь Человека с помощью слов, а не действий.

Чтобы спасти образ Человека, видимый через людей, Гуманизм располагал теперь всего лишь тем же словом «Человек», украшенным заглавной буквой. Мы рисковали скатиться по опасному склону и в один прекрасный день подменить Человека некой средней личностью

или совокупностью людей. Мы рисковали подменить наш собор суммой камней.

И понемногу мы растеряли наше наследие.

Вместо того чтобы утверждать права Человека в личности, мы заговорили о правах Коллектива. Незаметно у нас появилась мораль Коллектива, которая пренебрегает Человеком. Эта мораль может объяснить, почему личность должна жертвовать собой ради Общества. Но она не может объяснить, не прибегая к словесным ухищрениям, почему Общность должна жертвовать собой ради одного человека. Почему справедливо, чтобы тысячи людей приняли смерть ради спасения одного осужденного невинно. Мы еще вспоминаем об этом принципе, но мало-помалу забываем его. А между тем именно в этом принципе, в корне отличающем нас от муравьев муравейника, прежде всего и состоит наше величие.

Мы скатились — за неимением плодотворного метода — от Человечества, опиравшегося на Человека, к этому муравейнику, опирающемуся на сумму личностей.

Что могли мы противопоставить культу Государства или культу Массы? Во что превратился наш величественный образ Человека, порожденного Богом? Его уже почти невозможно распознать сквозь слова, потерявшие смысл.

Постепенно, забывая о Человеке, мы ограничили нашу мораль проблемами отдельной личности. Мы стали требовать от каждого, чтобы он не ущемлял другого. От каждого камня, чтобы он не ущемлял другой камень. Разумеется, они не наносят друг другу ущерба, когда в беспорядке валяются в поле. Но они наносят ущерб собору, который они могли бы составить и который взамен наделил бы смыслом каждый из них.

Мы продолжали проповедовать равенство между людьми. Но, забыв о Человеке, мы уже перестали понимать то, о чем говорили. Не зная, что положить в основу Равенства, мы превратили его в туманное утверждение, пользоваться которым уже не могли. Как определить Равенство между личностями, между мудрецом и тупицей, глупцом и гением? Что касается строительных материалов, то, если мы хотим определить и осуществить их равенство, нужно, чтобы все они занимали одинаковое место и играли одну и ту же роль. А это бессмысленно. Ибо принцип Равенства вырождается тогда в принцип Тождества.

Мы продолжали проповедовать Свободу человека. Но, забыв о Человеке, мы определили нашу Свободу как некую безнаказанность, при которой дозволены любые поступки, лишь бы они не причиняли вреда другому. А это лишено всякого смысла, ибо нет такого поступка, который не затрагивал бы другого человека. Если я, будучи солдатом, наношу себе увечье, меня расстреливают. Обособленных личностей не существует. Тот, кто отчуждает себя от общности, наносит ей ущерб. Тот, кто печален, печалит других.

Понимая право на свободу таким образом, мы разучились пользоваться им, не наталкиваясь на непреодолимые противоречия. Не умея определить, в каком случае мы сохраняли наше право на свободу, а в каком лишались его, мы, чтобы спасти хоть какой-то неясный принцип, лицемерно закрыли глаза на бесчисленные препятствия, которые всякое общество неизбежно ставило перед нашими свободами.

Что же касается Любви к ближнему, то мы даже не осмеливались больше ее проповедовать. В былые времена Любовью к ближнему называлась жертва, создававшая какую-нибудь Сущность, если эта жертва прославляла Бога через его человеческий образ. Через личность мы воздавали Богу или Человеку. Но, забыв о Боге или о Человеке, мы стали воздавать только личности. И тогда Любовь к ближнему часто становилась оскорбительной. Справедливость в распределении материальных благ должно обеспечивать Общество, и она



не может зависеть от каприза того или иного лица. Достоинство личности не допускает, чтобы она оказалась в зависимости от другой личности из-за ее щедрот. Было бы нелепо, если бы имущие, кроме обладания богатством, требовали еще и благодарности неимущих.

Самое же главное состоит в том, что наша любовь к ближнему, истолкованная превратно, обращалась против самой себя. Основанная исключительно на жалости, она запретила бы всякое воспитующее наказание. Подлинная Любовь к ближнему, будучи служением Человеку, а не отдельной личности, повелевала нам бороться с личностью, чтобы возвеличить в ней Человека.

Так мы потеряли Человека. А потеряв Человека, мы лишили тепла то самое братство, которое проповедовала наша духовная культура, потому что братьями можно быть только в чем-то и нельзя быть братьями вообще. Делиться с кем-то еще не значит быть ему братом. Братство возникает только в самопожертвовании. Оно возникает в общем даре чему-то более великому, чем мы сами. Но, подменив этот корень всякого истинного бытия бесплодным измельчанием, мы свели наше братство просто к взаимной терпимости.

Мы перестали давать. Но если я готов дать лишь самому себе, я ничего не получаю, потому что не создаю ничего такого, от чего я неотделим, а значит, я — ничто. И если от меня потребуют, чтобы я умер ради каких-то выгод, я откажусь умирать. Выгода прежде всего повелевает жить. Какой порыв любви окупит мою смерть? Умирают за дом, а не за вещи и стены. Умирают за собор — не за камни. Умирают за народ — не за толпу. Умирают из любви к Человеку, если он краеугольный камень Общности. Умирают только за то, ради чего стоит жить.

Наш лексикон, казалось, почти не изменился, но слова, когда мы пытались ими пользоваться, потеряв свой реальный смысл, вели нас к неразрешимым противоречиям. И мы были вынуждены закрывать глаза на эти помехи. Не умея строить, мы были вынуждены оставить груды камней на поле и говорить о Коллективе с опаской, не решаясь уточнять, о чем же мы говорим, потому что в действительности мы говорили о чем-то несуществующем. Слово «коллектив» лишено смысла до тех пор, пока Коллектив не связывается чем-то. Сумма не есть Сущность.

Если наше Общество еще имело право на существование, если в нем еще сохранялось какое-то уважение к Человеку, то лишь потому, что подлинная духовная культура, которую мы предавали собственным невежеством, все еще излучала свой меркнущий свет и спасала нас помимо нашей воли.

Как могли наши противники понять то, чего уже не понимали мы сами? Они видели в нас только груды камней. Они пытались вернуть смысл Коллективу, смысл, который мы сами уже не умели объяснить, потому что забыли о Человеке.

Одни из них сразу же, недолго думая, пришли к крайним логическим заключениям. Груды камней они придали самодовлеющее значение. Камни должны быть тождественны камням. И каждый камень подчиняется самому себе. Анархия еще не забыла о культе Человека, но целиком переносит его на отдельную личность. И это ведет к противоречиям еще более непримиримым, чем наши.

Другие собрали камни, беспорядочно разбросанные в поле. Они проповедовали права Массы. Но их формула непригодна. Потому что если нельзя допустить, чтобы один человек тиранил Массу, — нельзя, разумеется, допустить также и то, чтобы Массы подавляла одного человека.

Третьи завладели этими бессильными камнями и из суммы их создали Государство.

Такое Государство тоже не возвышает людей. Оно тоже лишь выражение суммы. Оно есть власть коллектива, переданная в руки личности. Оно есть господство камня, который по видимости отождествляет себя с другими камнями, над совокупностью камней. Это государство откровенно проповедует мораль Коллектива, которую мы пока отрицаем, но к которой сами же постепенно идем, потому что мы забыли о Человеке — а ведь только он может оправдать наш отказ.

Приверженцы этой новой религии не допустят, чтобы несколько шахтеров рисковали жизнью ради спасения одного засыпанного в шахте товарища. Потому что это нанесло бы ущерб груде камней. Они прикончат раненого, если он задерживает продвижение армии. О благе Общности они станут судить с помощью арифметики, и арифметика будет руководить ими. Им невыгодно возвыситься до более великого, чем они сами. Следовательно, они возненавидят все то, что отличается от них, потому что над собой они не найдут ничего, с чем они могли бы слиться. Всякий чужой обычай, иная раса, иная мысль неизбежно станут для них оскорблением. Они не будут обладать способностью приобщать к себе, ибо, чтобы обратить Человека в свою веру, нужно не отсечь его, а объяснить ему его роль, указать цель для его устремлений и предоставить ему сферу приложения сил. Обратить в свою веру всегда значит освободить. Собор может приобщать к себе камни, и они обретают в нем смысл. Но груда камней ничего к себе не приобщает, и, не обладая такой способностью, она давит. Да, это так, — но чья в том вина?

Я больше не удивляюсь тому, что груда камней, которая давит своей тяжестью, одержала победу над камнями, в беспорядке разбросанными по полю.

И все-таки я сильнее ее.

Я сильнее ее, если я вновь обрету себя. Если наш Гуманизм восстановит Человека. Если мы сумеем основать нашу Общность и если применим для этой цели единственно действенное средство: жертву. Общность, построенная нашей духовной культурой, тоже не была суммой выгод — она была суммой даров.

Я сильнее ее, потому что дерево сильнее веществ, составляющих почву. Оно впитывает их в себя. Оно превращает их в дерево. Собор сияет ярче, чем груда камней. Я сильнее ее, потому что только моя духовная культура способна связать в одно целое, никого не отсекая, все разнообразие человеческих индивидуальностей. Утоляя жажду из источника своей силы, она в то же время вливает в него новую жизнь.

В час вылета я хотел что-то получить прежде, чем отдал сам. Мое желание не имело смысла. Здесь было что-то сходное с тем скучным уроком грамматики. Прежде чем получить, надо отдать, и прежде чем поселиться в доме, надо его построить.

Моя любовь к своим основана на том, что я готов отдать за них свою кровь, подобно тому как любовь матери основана на том, что она отдает свое молоко. В этом и заключается тайна. Чтобы положить основание любви, надо начать с жертвы. Потом любовь может вдохновить на новые жертвы, и они приведут к новым победам. Человек всегда должен сделать первый шаг. Прежде чем существовать, он должен родиться.

Когда я вернулся с задания, я уже ощущал свое родство с племянницей фермера. Ее улыбка показалась мне прозрачной, и сквозь эту улыбку я увидел мою деревню. А сквозь мою деревню — мою страну. А сквозь мою страну — другие страны. Потому что я неотделим от духовной культуры, избравшей своим краеугольным камнем Человека. Я неотделим от группы 2/33, выразившей готовность сражаться за Норвегию.

Может случиться, что завтра Алиас пошлет меня на другое задание. Сегодня я

облачился, чтобы служить богу, которого не видел, потому что был слеп. Огонь над Аррасом снял пелену с моих глаз — и я прозрел. Те, от кого я неотделим, тоже прозрели. И если на заре я вновь отправлюсь в полет, я буду знать, за что я сражаюсь.

Но я хочу запомнить то, что увидел. А для этого мне нужен простой Символ Веры.

Я буду сражаться за приоритет Человека над отдельной личностью, как общего над частным.

Я верую, что культ Общего возвышает и связывает воедино духовные богатства отдельных личностей и основывает единственно подлинную гармонию, которая есть гармония жизни. Дерево исполнено гармонии, хотя его корни отличаются от ветвей.

Я верую, что культ отдельных личностей влечет за собой только смерть, потому что он хочет основать гармонию на сходстве. Он подменяет единство Сущности тождеством ее частей. И он разрушает собор, чтобы выложить в ряд составляющие его камни. Поэтому я буду сражаться со всяким, кто станет провозглашать превосходство какого-то одного обычая над другими обычаями, какого-то одного народа над другими народами, одной расы над другими расами, какой-то одной мысли над другими мыслями.

Я верую, что приоритет Человека кладет основание единственному имеющему смысл Равенству и единственной имеющей смысл Свободе. Я верую в равенство прав Человека в каждой личности. И я верую, что Свобода — это Свобода восхождения Человека. Равенство не есть тождество. Свобода не есть возвеличивание личности в ущерб Человеку. Я буду сражаться со всяким, кто захочет подчинить свободу Человека одной личности или массе личностей.

Я верую, что моя духовная культура именует Любовью к ближнему добровольную жертву, приносимую Человеку, чтобы утвердить его царство. Любовь к ближнему есть дар Человеку, приносимый через посредственность личности. Она основывает Человека. Я буду сражаться со всяким, кто, утверждая, что моя любовь к ближнему воздает честь посредственности, станет отрицать Человека и тем самым заключит личность в тюрьму безысходной посредственности.

Я буду сражаться за Человека. Против его врагов. Но также и против самого себя.

Я присоединился к товарищам. Мы все должны были собраться около полуночи, чтобы получить приказания. Группу 2/33 клонит ко сну. Пламя большого костра превратилось в тлеющие угли. С виду группа еще держится, но это только иллюзия. Ошедэ грустно вопрошает свой знаменитый хронометр. Пенико, прислонясь головой к стене, дремлет в углу. Гавуаль, свесив ноги, сидит на столе и, подавляя зевоту, морщится, как готовый заплакать ребенок. Азамбр клюет носом над книгой. Один лишь майор еще бодрится; мертвенно-бледный, склонившись над бумагами под лампой, он вполголоса обсуждает что-то с Желе. Впрочем, «обсуждает» — всего лишь образное выражение. Говорит один майор. Желе кивает головой и отвечает: «Да, конечно». Желе прицепился к этому «да, конечно». Он все поспешнее соглашается с высказываниями майора, боясь оторваться от них, как утопающий

— от шеи пловца. На месте Алиаса я, не меняя тона, сказал бы: «Капитан Желе... на рассвете вас расстреляют...» И подождал бы, что он ответит. Группа не спала уже трое суток и еле держится на ногах.

Майор встает, подходит к Лакордэру и прерывает его сон, в котором Лакордэр, быть может, обыгрывал меня в шахматы.

— Лакордэр... с рассветом вы вылетаете. Разведка на бреющем полете.

— Слушаюсь, господин майор.

— Вам надо бы поспать...

— Так точно, господин майор.

Лакордэр снова садится. Майор выходит из комнаты, увлекая за собой Желе, словно мертвую рыбу на конце удочки. Вот уже не трое суток, а целая неделя, как Желе не спал. Так же, как Алиас, он не только вылетал в разведку, но и нес на своих плечах ответственность за всю группу. Человеческая выносливость имеет пределы. Желе уже перешел пределы выносливости. И все-таки оба они — и пловец и утопающий — снова отправляются за призрачными приказами.

Ко мне с озабоченным видом подходит Везэн — сам он при этом стоя спит, как лунатик.

— Ты спишь?

— Я...

Я прислонился головой к спинке кресла — я обнаружил здесь кресло. Я тоже засыпаю, но меня мучит голос Везэна:

— Все это плохо кончится!..

Все это плохо кончится... Заведомо неодолимая преграда... Плохо кончится...

— Ты спишь?

— Я... нет... что плохо кончится?

— Война.

Вот это новость! Я снова погружаюсь в сон. Я бормочу:

— ...какая война?

— Как это «какая»?

Такой разговор долго не протянется. Ах, Паула, если бы у авиагрупп были тирольские няньки, вся группа 2/33 уже давно была бы в постели!

Майор с размаху распахивает дверь.

— Решено. Перебазируемся.

За ним стоит Желе, совершенно проснувшийся. Он отложит до завтра свои «да, конечно». В эту ночь он опять почерпнет силы для изнурительного труда из-за каких-то ему самому неведомых резервов.

Мы встаем. Мы говорим: «А!.. Ну, ладно...» Что мы можем сказать?

Мы ничего не скажем. Мы обеспечим перебазирование. Один Лакордэр дождется рассвета, чтобы вылететь на задание. Если он останется жив, то присоединится к нам уже на новом аэродроме.

Завтра мы тоже ничего не скажем. Завтра для свидетелей мы будем побежденными. А побежденные должны молчать. Как зерна.

**Больше книг Вы можете скачать на сайте - [Knigochei.net](http://Knigochei.net)**